Лиана Полухина

Инна ГУЛАЯ

Геннадий ШПАЛИКОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Знаменитый сценарист культового фильма «Я шагаю по Москве», картин «Мне двадцать лет», «Я родом из детства», даровитый поэт, чьи песни распевала страна, — Геннадий Шпаликов. И загадочная, не похожая ни на кого киноактриса Инна Гулая — героиня фильмов «Тучи над Борском» и «Когда деревья были большими», с первого взгляда поразившая зрителей. Их судьбы соединила большая любовь. Но совместная жизнь, принесшая дни счастья, страданий и мучений, закончилась трагически.

Книга Лианы Полухиной, биографа многих кинопар — Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова, Марины Ладыниной и Ивана Пырьева, Любови Орловой и Григория Александрова — в память о звездных, талантливых людях, оставивших свой след в отечественном искусстве.

- Лиана Полухина
  - Союз любви с трагической развязкой
    - Вместо предисловия
    - Родом из детства
    - Всесоюзный государственный институт кинематографии
    - «Ты была важнее, чем все на свете…»
    - «Застава Ильича»
    - Наташа, ты не наша
    - «Я шагаю по Москве»
    - В ней было что-то ангельское
    - Всё было веселым вначале
    - Повесть о несостоявшейся любви
    - «Вздохом в чистое поле я себя отпущу…»
    - «Завещаю вам только дочку»
    - Берега Инны Гулая
    - «Я к вам травою прорасту…»
  - Геннадий Шпаликов
  - Иллюстрации

Лиана Полухина

Инна Гулая и Геннадий Шпаликов

Союз любви с трагической развязкой

Вместо предисловия

…В кругу вгиковских друзей был обычай — писать друг другу коллективные послания не только «по поводу», а просто так, по настроению.

«Сегодня вечером, — писалось в одном из них, — мы пришли к Шпаликову. Тра-ля-ля… Он был трезвый и серьезный, а мы — пьяные и глупые. Не сердись на нас, пожалуйста, Гена. Мы очень любим тебя и твой сценарий, и режиссера Хуциева, и его творчество, и „новую волну“, и все такое интересное и необычайно талантливое, как все молодые кинематографисты, которые есть теперь, хотя они и очень любят пить водку, да и не только водку, но все равно они хорошие, а самый хороший среди них, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый и любимый всеми девушками города Москвы. Да и не только Москвы — других городов тоже. Будь здоров, Гена!»

Его любили не только девушки. Он был центром своей студенческой компании. Дружить с ним было интересно, дружбой с ним гордились.

«Я познакомился со Шпаликовым очень забавно, — вспоминает кинорежиссер Юлий Файт. — Первого января мне позвонили, сказали: „Нам нужно с тобой поговорить по делу“. Надо было только перейти через Гоголевский бульвар, чтобы к ним попасть, в квартиру Финна. В этой компании были сценаристы Финн, Рязанцева, Шпаликов; операторы Княжевский, Ильенко — и не было режиссера, ни одного… Вернулся я через неделю. И с тех пор мы не расставались практически несколько лет. Мы тогда целый день веселились, гуляли, потом мы ложились спать, а Шпаликов ухитрялся за ночь написать страниц десять нового сценария».

Наталия Рязанцева стала женой Шпаликова еще в институте. Всем нравилась эта пара: оба талантливы, красивы. Но союз их просуществовал недолго. Рязанцева ушла, поняв, что тяга к выпивке превращается у Геннадия в болезнь, с которой она бороться не умела. Он-то работал, а она при таком образе жизни заниматься творчеством не могла.

Некоторое время спустя Шпаликов встретил Инну Гулая, в свои двадцать лет уже прославленную актрису. Помимо прочего, она была необычайно красива — в ее красоте отмечали многие что-то колдовское. Вспыхнула любовь.

Они поженились — самый молодой знаменитый сценарист и восходящая кинозвезда. И были счастливы, и мучили друг друга.

Инна снималась, но уже реже: она ждала ребенка. Геннадий много работал, но удача покинула его. Хроническое безденежье не способствовало миру в семье. Да и вообще трудно найти человека, менее приспособленного к семейной жизни: творить, «делать себя» — эгоистическая вещь. Быть может, Шпаликов не требовал этого, но получилось так, что Инна Гулая принесла в жертву ему, их любви, свою артистическую карьеру, свои небывалый талант.

Конец их жизни был трагичен, но оба они оставили свой след в отечественном искусстве и продолжают жить в сердцах тех, кто их знал, кто ценил их творчество и просто любил.

Пусть эта книга послужит памяти Геннадия Шпаликова и Инны Гулая.

Родом из детства

В автобиографии при поступлении во Всесоюзный государственный институт кинематографии Шпаликов писал:

«Я, Шпаликов Геннадий Федорович, родился в сентябре 1937 года в г. Сегеже Карело-Финской ССР, где мой отец, Шпаликов Федор Григорьевич, строил Сегежский бумажно-целлюлозный комбинат. Он был военный инженер.

В 1939 году после окончания строительства мы вернулись в. Москву.

В 1941 г., как только началась война, нас вместе с академией им. Куйбышева, где служил и работал отец, эвакуировали в г. Фрунзе. Жили мы, вернее, в деревне Аларга — это недалеко от города.

Зимой 1945 года вернулись в Москву. 28 января 1944 г. в Польше погиб мой отец, инженер-майор Шпаликов.

В 1945 году я поступил в школу, а в 1947 году военкоматом Ленинградского района г. Москвы был направлен в Киевское суворовское военное училище, как сын погибшего офицера.

В Киевском суворовском военном училище я находился с 1947 по 1955 г. В училище был членом комсомольского бюро взвода, редактировал газету. В июле 1955 г. окончил Киевское суворовское военное училище и был направлен в Московское Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР.

В октябре 1955 года приказом начальника училища был назначен на должность командира отделения с присвоением звания мл. сержанта.

В январе 1956 г. на батальонных учениях я повредил колено правой ноги и до марта 1956 г. лежал в Хлебниковском военном госпитале.

7 марта 1956 г. Окружной медицинской комиссией был признан негодным для дальнейшего обучения в военном училище, а несколько дней спустя приказом начальника училища по состоянию здоровья я был уволен из армии. Сейчас живу в городе Москве, по ул. Горького, д. 43, кв. 110, с матерью.

С 1952 года — член ВЛКСМ.

Г. Шпаликов. 26.06.56 г. Москва».

Любое художественное произведение, это общеизвестно, в той или иной мере отражает личность автора, пережитое им. В этом смысле фильм по сценарию Шпаликова «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова можно назвать автобиографическим. Грустная и светлая картина доносит до нас, сегодняшних, страдания, радости, надежды не только ее героев-мальчишек Игоря и Женьки, но целого поколения, чье детство пришлось на войну.

Это тоска о детстве, горьком, трудном, и все-таки детстве, той поре жизни, когда человеку открывается что-то новое, неизведанное — и в собственной душе, и в окружающем мире.

«…Эта пауза была огромна и полна всех самых лучших слов, которые они так и не сказали друг другу. Они стояли рядом в эти минуты, два самых близких на земле человека, и молчали, и поезд все никак не уходил» — так описано у Шпаликова расставание Игоря и Женьки.

Он оставляет своих героев на пороге отрочества. «Им не обещали легкой жизни, — читаем мы в сценарии, — но в будущем она оказалась еще сложнее, чем это можно было предполагать, и никто не знает, какие испытания и какие победы предстоят им впереди».

В своих сценариях, прозе, стихах Шпаликов редко возвращается к суровой военной поре, но война останется и пребудет в нем до конца его дней. Прошлое не забывалось, притягивало его, не отпускало…

Кинорежиссер Юлий Файт, друг Шпаликова со вгиковских времен, вспоминает:

«В конце теплого летнего дня Гена позвонил мне и позвал в Покровское-Стрешнево, где они жили после войны. Он давно там не был.

На окраине Москвы стоял десяток трех-четырехэтажных домов, построенных просто, без затей. Небольшие палисадники под окнами, врытые в землю столы, предназначенные для игры в домино. Мы присели за такой столик, Гена достал четвертинку.

Почему-то вокруг никого не было — ни души, стояла странная тишина. Только далекий, смутный шум большого города да журчание маленького самолета над Тушинским аэродромом.

А в Тушине — лето как лето, —
И можно смотреть без билета,
Как прыгают парашютисты —
Воздушных парадов артисты.

Мы и смотрели. Молча.

И вдруг женский голос отчетливо и ясно позвал: „Гена!“ Мы заоглядывались. Никого — ни вокруг, ни в окнах. Посидели, помолчали. И опять: „Гена!“ Голос звучал будто сверху и был какой-то… славный, другого слова не подберу.

Неловко улыбаясь, мы поднялись и… уехали».

Прошлое окликало его…

Может быть, под впечатлением таких вот поездок Шпаликов написал одно из лучших своих стихотворений. Кинорежиссер Сергей Соловьев назвал его гениальным:

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.

А не то рвану по следу —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

Это стихотворение использовано режиссером Николаем Губенко в фильме «Подранки». Мнится мне, что написал его такой же подранок, как и герои этого фильма. И у них, и у Шпаликова в детстве была война. У многих погибли отцы…

«Путешествие в обратно я бы запретил…» Решусь нарушить этот запрет и вернуться к началу путешествия Шпаликова в будущее, чтобы лучше понять Шпаликова-человека, проникнуть к истокам его творчества.

Писать Шпаликов стал еще в суворовском училище. В стихах того периода, откровенно ученических, ощущается явное влияние Владимира Маяковского.

Откуда у неба столько воды,
Тут помутнеешь в рассудке.
Дождь,
наливая
с краями пруды,
Хлещет вторые сутки.
Кто там, на небе,
давай разберись,
Пожалуйста, не авральте.
Нам же не сеять китайский рис
На заливном асфальте.

Это строки из стихотворения «Обвинение дождю». В духе Маяковского и названия стихотворений: «Грустное», «Надоело!» и т. п.

Ну что ж! Как сказал другой поэт, начнем, пожалуй, с подражанья. Показательно, что начал Шпаликов с подражания, допустим, не Блоку или Есенину. Его умонастроению был близок Маяковский — энергия стиха поэта-трибуна, оптимистическое восприятие мира. Стихотворение «Жизнь» подтверждает это:

На каждый дается день
Нам солнца
и неба
высь,
Лучи сквозь себя —
продень
И к жизни сильней привяжись.

А перед этими, патетическими строками, — более земные:

Я эту люблю
жизнь,
Дни люблю пить,
Буду сухарь грызть
И все равно —
любить.
Даже без рук
и ног

И с пустотой впереди
Я б добровольцем
не смог
В небытие уйти.

Под стихотворением дата: 1954 год. Запомним…

Немного спустя Шпаликов напишет в дневнике (его он вел всю жизнь, начиная с училища): «Ровно 25 лет назад застрелился Владимир Владимирович Маяковский. Все мое лучшее — к нему. Покойный не любил признаний, ненавидел всяческие юбилеи… Так пройти по жизни — вот моя мечта».

В 1955 году одно из стихотворений Шпаликова появляется в печати. На это поистине знаменательное событие он откликается стихотворением:

Не смотри на будущее хмуро,
Горестно качая головой…
Я сегодня стал литературой
Самой средней, очень рядовой.

Пусть моя строка другой заслонится,
Но благодарю судьбу свою
Я за право творческой бессонницы
И за счастье рядовых в строю.

Период подражания Маяковскому закончился — поэтом-трибуном Шпаликов не стал. Он пошел своим собственным путем, а поэзия нашла к нему дорогу сама:

По белому снегу
я палкой вожу,
стихи — они с неба,
я — перевожу.

В его поэзии не ощущалось и отголоска влияния Маяковского. И вообще он не ставил своей целью заниматься поэзией, как, впрочем, и кино, — он просто очень хотел писать. «Конечно, я родился писателем — по призванию, по влечению», — напишет он незадолго до своей смерти. А тогда, двадцатилетний, уволенный из армии по причине серьезной травмы, он выбирал институт, который дал бы ему возможность осуществить свою мечту.

Поиски привели его во ВГИК. Ему очень здесь понравилось — вся эта атмосфера, девушки с актерского факультета… Он понял, что это то место, где он хотел бы быть.

«Замечательно и знаменательно было появление во ВГИКе Геннадия Шпаликова, — пишет в своей книге „Территория кино“ Армен Медведев. — Он пришел, когда мы учились на втором курсе. Его не хотели зачислять, хотя он прекрасно сдал все экзамены. Ректор Александр Николаевич Грошев выразил сомнение, сказав примерно так: „Ну, мальчик пришел из суворовского училища, у него нет никакого опыта, никаких представлений о жизни, он ведь очень скоро выдохнется“. Я тому свидетель, как Кира Константиновна Парамонова, профессор ВГИКа, бегала в кабинет ректора, где заседала приемная комиссия, и отстаивала Геннадия. Если бы те, кто решал тогда судьбу абитуриентов-кинодраматургов, почитали дневники суворовца Гены Шпаликова, которые были опубликованы много лет спустя в журнале „Искусство кино“, я убежден, они бы ахнули, уж точно не приняли его в институт, однако в незнании жизни обвинить не посмели бы…

Он нес свой мир, странный, причудливый, красивый. Во ВГИКе первым его публичным самопроявлением была пьеса „Гражданин Фиолетовой республики“… Эта вещь была сделана, мне кажется, не без влияния Шварца, в ней были стихи, были куплеты о герое и среди них — афоризм, который вышел за стены ВГИКа: „Элегантный, как рояль“».

…Шел 1956 год, год XX съезда партии, на котором был развенчан культ личности Сталина. Было закрытое письмо по этому поводу, которое зачитывали на закрытых партийных собраниях… Были венгерские события, вызвавшие студенческие волнения… Два года просуществовала некоторая вольница. Затем наступило время закручивания гаек.

Всесоюзный государственный институт кинематографии

«Надо представить себе ВГИК того времени, — рассказывает сценарист Павел Финн, — ареопаг выдающихся талантов. Практически весь кинематограф, который стал отечественной классикой. Кинематограф 60-х годов и последующих лет — это был ВГИК того времени.

По коридорам института в виде мальчишек и девчонок ходили, можно сказать, гиганты советского кино. И вот среди всего этого звездного неба одной из самых ярких звезд был Шпаликов. Хотя почему? Ничего особенного он тогда не сделал, был просто студентом. Но уже пользовался необычайной любовью всех и авторитетом. Уже Тарковский к нему приглядывался. Они собирались вместе делать фильм со странным названием „С февралем в голове“, но потом эта идея отпала».

В мир кино Шпаликов вошел легко и, свободно. В институте он чувствовал себя в своей среде. Суворовское училище он так и не полюбил. «Долой ваши порядки, приказики и приказы», «Снова и снова в поле зрения стены напротив скучно-белые, как все до омерзения надоело», «Серых дней лента», — рубит он сплеча в стихотворении «Надоело». Армейская служба тоже не пришлась ему по душе. Его вольнолюбивой натуре претили любые рамки и ограничения.

Наконец он обрел свое истинное призвание. С мальчишеской гордостью он пишет об этом:

Я жил как жил,
Спешил, смешил,
Я даже в армии служил.
И тем нисколько не горжусь,
Что в лейтенанты не гожусь.
Не получился лейтенант,
Не вышел. Я — не получился,
Но говорят во мне талант
Иного качества открылся:
Я сочиняю — я пишу.

Наталия Рязанцева, в то время студентка сценарного факультета, вспоминает:

«Шпаликов был невероятно обаятельный, такой модный студент, он уже писал, его уже все знали, и когда Марлен Хуциев

позвал его делать вместе фильм, он, видимо, решил, что Гена как раз и есть тот самый герой, которого он замыслил.

Шпаликов носил бархатную толстовку с бабочкой. Он был младше меня курсом, хотя по возрасту старше меня. Я мало кого знала с его курса, а его знала. Шпаликов был такой звездой ВГИКа. Он всех заинтересовал, он как-то умел со всеми ладить. Щелкал каблуками (суворовец!), ухаживал за всеми артистками — у нас было много красивых актрис. Он ходил их развлекал с котом. У него такая малица была, он засунет кота за пазуху и ходит в гости».

Одной из первых работ Шпаликова на факультете был небольшой сценарий под названием «Человек умер» о самом ВГИКе. Сценарий вызвал неоднозначную реакцию, ибо центром сюжета служила собственная смерть сценариста. Что это? Шутка, розыгрыш, игра с чертом или предчувствие, провидение?

С высоты сегодняшних знаний о том, что случилось 1 ноября 1974 года, читать это страшно.

Начинался сценарий с доски объявлений, где среди других было извещение в траурной рамке, на листке, вырванном из тетради:

> «Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час., вынос тела — в 7.
>
> После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!»

Возле доски объявлений — несколько человек. Они что-то жуют. Голоса совсем спокойные.

— Как это его угораздило?

— Говорят, повесился.

— Повесился?

— Ага, в уборной.

— Некинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?!

Дальше, после небольшого препирательства с некой Колодяжной (все фамилии подлинные), уверенной, что все собрались возле зала ради кинопросмотра, за проведение которого отвечала она («Почему закрыт зал?» — «Понимаете, человек умер…» — «Это — его дело, а у меня расписание»… И т. д. и т. п.), идет легкий треп, иного слова не подберу, этакое упражнение в остроумии на тему самоубийств.

«Что нам смерть — раз, два и повесился. На то мы и

писатели». «Я знаю одно: сам я не вешался и ничего определенного сказать не могу». «Кому как, а мне это нравится. Я бы сам сделал что-нибудь похожее — времени не хватает. Завален этюдами». «Я так считаю: самоубийство — это плагиат. Ничего оригинального. Меня эта смерть не обогатила»…

И еще много чего «смешного». Обхохочешься…

Но с какой целью это написано? И к какому жанру можно отнести «Человек умер»? К комедии?

«Самоубийца» Н.Эрдмана — это острая социальная сатира, пьеса несет глубокую мысль. А здесь? Ну, повеселились у гроба товарища, как на хорошем просмотре, скинулись на поминки…

Повторю вслед за одним из персонажей: меня эта смерть не обогатила. Я лишь поняла, что Шпаликов не такой уж добрый и что ради красного словца он, как говорится, не пожалеет ни мать, ни отца, ни сотоварищей своих.

Скажете — пародия, гротеск, «капустник». Но есть все-таки темы, к которым, верующий ты или нет, надо относиться с пиететом, с осторожностью, чтобы не оскорбить чувств других, не накликать беду. Использовать в качестве эпатажа, а к нему был склонен Шпаликов, извещение о собственной смерти, не значит ли притянуть трагедию?

Только молодостью, бесстрашием перед жизнью, перед будущим можно как-то объяснить этот «сценарный ход».

Шпаликов, вообще как ребенок, не чувствовал края, не знал разницы между прямолинейностью и прямотой. При всей аудитории, к примеру, мог бросить в лицо кинорежиссеру Григорию Александрову, профессору ВГИКа, по поводу его фильма «Русский сувенир»: «Ребята, сегодня вот нам показали — и хорошо показали, лучше нельзя, — какое кино нам делать не надо. Никогда!»

Мнение тогда еще не состоявшегося, но уже почитаемого сценариста было справедливым: «Русский сувенир» был явной неудачей мастера. И все же, все же, все же…

Думаю, не только меня заденет размашистость шпаликовского стихотворения «Утро»:

Не верю ни в бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.

Она чем нелепей, тем ближе,
Она — то ли совесть, то ль бред,
Но вижу, я вижу, я вижу

Как будто бы автопортрет.

Возможно, стихотворение это и отражает в ка-кой-то мере самоощущение поэта. Но вряд ли составителям книги «Геннадий Шпаликов», изданной в Екатеринбурге («У-Фактория», 1999), стоило помещать его на первой странице в качестве эпиграфа: оно не отражает дух творчества Шпаликова, сложность и противоречивость его личности.

«Не верю ни в бога, ни в черта» — скорее всего фигура речи. Бог был в его сердце, открытом людям, состраданию, радости жизни, земной красоте.

И Россия не такая уж нелепая, и Шпаликов — тоже.

С чудесной и яркой улыбкой, на всех он производил хорошее впечатление.

«Шпаликов был особенно сияющ, — говорила о нем Белла Ахмадулина. — Солнце отражалось в его глазах, и вообще он был здраво и радостно настроен, и можно было про этого молодого человека сказать: он несомненно рожден для радости, для успеха».

А от Петра Тодоровского при первом знакомстве с начинающим сценаристом тот вмиг получил прозвище — Генацваликов.

Он был всегда окружен друзьями. Ядро компании составляли, помимо самого Шпаликова, сценаристы Финн, Рязанцева, операторы Княжевский, Ильенко, режиссеры Файт, Митта. Иногда к компании присоединялись Николай Губенко, Никита Михалков, Белла Ахмадулина, Андрей Тарковский…

Жили веселой студенческой жизнью. Гуляли, бездельничали, бывало, днями не расставались. А когда ложились спать, Шпаликов ухитрялся за ночь написать страниц десять нового сценария. Сценарий «Причал», к примеру, был написан на глазах друзей за несколько ночей. Стихи и песни он сочинял буквально на ходу.

Павел Финн рассказывал в одной из телепередач:

«Шестидесятые годы, их начало, представляют собой особое время, какой-то такой остров во времени: это еще недалеко от войны, это и постоянная радость от того, что можно чувствовать себя свободным. Такая большая московская компания людей, живущих в искусстве. Об этом никогда не говорили, что мы живем в искусстве, это просто было бы стыдно сказать так, потому что пафос не позволялся. Но мы жили с общим ощущением открытого шампанского… Не все шестидесятые годы, а те годы конца ВГИКа — начала какой-то иной жизни. До сих пор

я ощущаю какой-то идущий от них свет.

Мы были как будто бы беспечны, но в этой беспечности было очень много серьезного. За фасадом этой беспечности шла работа, которая и делала из нас тех, кем мы стали или кем мы не стали. И самым, безусловно, ярким лучом в нашей жизни тогда, конечно, был Гена, хотя мы об этом не думали. Мы это чувствовали, мы это знали, да он и сам это чувствовал, сам это знал.

Гена был такой Моцарт среди нас, и, к счастью, то, что он Моцарт, было прекрасно, а еще прекраснее, что среди нас не было Сальери. Он был абсолютно уверен в своем предназначении, в своей власти над этой жизнью, в своей неординарности».

В 1958 году на сценарном факультете, на курсе, где училась Наташа Рязанцева, случилось серьезное ЧП.

У студентов курса сложилась традиция: по окончании очередной сессии устраивать курсовую вечеринку. Гвоздем каждой встречи был магнитофонный «капустник». На пленку записывались эпиграммы на однокурсников, шутливые песенки, пародии, сценки из студенческой жизни. Будущие сценаристы просто дурачились.

В тот раз дело не заладилось. Кто-то вовремя что-то не написал, не было эпиграмм…

«Мы собрались и стали импровизировать на ходу пародию на историко-революционную тему, — рассказывает Наталия Рязанцева. — Я даже текст помню: „Еще не успел смолкнуть залп „Авроры“, а у колонн Таврического дворца…“ и так далее. Изображали Сталина. Была сцена с Лениным, который принимал академика, крестьянина, татарина, — ну, как в этих пьесах было. Все это записывалось на магнитофон. А потом кто-то сказал: „Ну, ребята, вы дров наломали!“ Решили все стереть и стерли».

А на следующий день в институт поступил сигнал из КГБ и одновременно из ЦК комсомола об антисоветской акции в стенах ВГИКа. Началось страшное. Студента, игравшего Ленина, вызвали на Лубянку. Он вернулся совершенно белый. Все стали гадать, откуда там стало известно о вечеринке, кто донес, ведь записи не было. Пошла ужасная полоса собраний, заседаний комитета комсомола, парткома. Поначалу участников «акции» осудили, наиболее активным вынесли по строгому выговору. Но в ЦК комсомола решение не утвердили — только исключение!

И ребят исключили. Тем временем выяснилось, кто «стукнул». И было решено отомстить таким образом, чтобы и доносчицу тоже выгнали из комсомола. «Это было такое действо толпы, — рассказывает Рязанцева. — И вот в этом действе, я заметила, Гена Шпаликов, Володя Китайский, с которым они вместе потом

работали, и еще третий, к ним примкнувший, не стали голосовать, как все. Защитить ее уже было невозможно от исключения, но все равно три человека (вот интересно: я и сама сомневалась, но проголосовала, как все), не обращая внимания на зал, подняли руку „против“.

С Геной мы как-то познакомились ближе, а потом встретились на переписи населения. Я переписывала население то ли в гостинице „Восток“, то ли „Алтай“. Потом приехал Гена, и мы повеселились, конечно, над этими анкетами… Вообще все, что связано со Шпаликовым, весь этот роман, после наших тяжелых историй был такой веселый».

«Ты была важнее, чем все на свете…»

«Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного — мы смеемся, выпрашиваем холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной, и я еще не знаю тебя и говорю тебе „вы“.

Потом была весна и Первое мая. И пыльный весенний день в середине мая — твои открытые белые руки, твое лицо взволнованно, и снова ты такая легкая, готовая улететь.

…И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это».

Так писал в своем дневнике Шпаликов летом 1958 года. Строки эти посвящены Наталии Рязанцевой.

«Это был такой странный роман, не студенческий, старомодный роман. Гена сразу сделал предложение, — рассказывает Наталия Рязанцева. — Мы поехали в Ленинград играть в волейбол, как всегда. Нас поселили в Доме колхозника. Там стояли кровати, по четыре в комнате. Я оказалась там с тремя лилипутками — артистками из ансамбля.

Приехал вдруг Гена. Он заявился в наш Дом колхозника целой компанией, с лыжами, рюкзаками: они решили поехать в Карелию кататься на лыжах. И поехали. А Гена остался в Ленинграде. Он приходил ко мне, и это было очень забавно. Лилипутки его полюбили. У них был баянист, и он пел вместе с ними под баян.

Он всем представлял меня как свою невесту, хотя ничего еще не было решено…

На нашей свадьбе он сказал замечательную речь. Женщины плакали. Наши мамы плакали тоже. Что он такое говорил, я не помню, но необыкновенно трогательно».

Вместе с собой он дарил ей весь мир.
Любимая, все мостовые,
Все площади тебе принадлежат,
Все милиционеры постовые
У ног твоих, любимая, лежат.

Они лежат цветами голубыми
На городском, на тающем снегу.
Любимая, я никакой любимой
Сказать об этом больше не смогу.

(«В Ленинграде»)

Семейная жизнь началась при абсолютном безденежье. Зарабатывали, чем могли. «Рекламу писали замечательную, нанимались за полцены, — рассказывает Рязанцева. — Нам даже образец выдали, как нужно писать. Мы долго хохотали над образцом, а потом сами сочиняли нечто подобное. Песни сочиняли эстрадные. Гена прославиться хотел, хотел песни написать, которые бы народ запел. И действительно, запели его песни. И до сих пор они остаются. Петр Ефимович Тодоровский до сих пор их поет. Даже в фильм „Военно-полевой роман“ взял „Городок провинциальный“…

Однажды Гена принес большие деньги и подбросил их вверх. Мы нашли потом на абажуре какую-то десятку — это было так кстати!»

Жили по-студенчески безбытно, общими интересами, не наворачивая проблем, — они, как водится, возникали сами собой и решались «по мере поступления». Но были и перманентные — безденежье, бездомность (впрочем, в те годы мало какая молодая семья имела свое жилье). Помимо прочего, Наташу все больше и больше стала тревожить растущая тяга Геннадия к выпивке.

В воспоминаниях «Майский день — именины сердца», посвященных известному писателю С.А.Ермолинскому, Рязанцева рассказывает об одном из эпизодов своей семейной жизни со Шпаликовым.

«Мы поженились в 59-м, — пишет она, — а в 61-м наш студенческий „экспериментальный“ стал трещать по швам, и весной Гена затеял примирение. Мы решили начать новую жизнь. Из прежней жизни — с моими родителями — мы были изгнаны, вернее, сами ушли. Для новой жизни были все основания — Гена получил аванс на „Мосфильме“ и, узнав, что я тоже скитаюсь, живу у подруги, купил два билета на Кавказ и преподнес их как спасенье: ехать и не рассуждать».

Прибыв в Гагры, они остановились в гостинице «Гагрипш» и зажили на широкую ногу. Им должны были прислать гонорар за сценарий. Но почему-то не присылали. Они продали, что могли, но все равно пришел момент, когда им не на что было поесть. Среди живущих в гагринском писательском Доме творчества попадались знакомые лица, но ведь не у всякого можно попросить взаймы.

И неизвестно еще, чем бы дело кончилось, если бы Шпаликов не встретил Сергея Александровича Ермолинского, который узнал его. Сергей Александрович выручил их деньгами, и

оставшаяся неделя пребывания бедных, промотавшихся студентов на юге превратилась в сплошной праздник. А Шпаликов — и в том была его трагедия — хотел, пишет Рязанцева, чтобы каждый день был праздником, но это редко получалось.

Под крылом Ермолинского в их семье ненадолго воцарился мир. Все невзгоды начинавшейся взрослой жизни отступали, узнавали свое место в масштабах иных трагедий и потерь.

Трудности быта, добывания денег их тяготили не очень. Они жили по воле чувств и профессии. Их окружали друзья. Они принимали гостей у себя, ходили в разные компании, где собирались интересные люди. Со Шпаликовым скучать было невозможно. Серьезно относился он далеко не ко всему, любил валять дурака. Над многими вещами мог посмеяться и многое увидеть из прошлого и будущего — в этом смысле он был поэт. Иногда обманывал. Устраивал розыгрыши, мистификации…

«Всего вранья Гены не перечислить, — вспоминает Рязанцева. — Бывало и такое, когда его песни выдавали за чьи-нибудь чужие. Некоторые его песни выдавали за песни Галича, а на самом деле Галич добавлял к Гениным песням окончания политические. Гена про это знал, они ведь были знакомы, и никак не реагировал. Он и сам мог выдать за свою чью-нибудь песню».

«А еще Гена любил дарить себе книги, — добавляет Юлий Файт, — от имени Льва Толстого, Олеши, к примеру. Таких книг с „дарственной“ подписью у него собралась целая полка».

В телепередаче «Людей теряют только раз», посвященной Шпаликову, забавную историю рассказал Павел Финн:

«В 1961 году Гена с Наташей Рязанцевой въехали в коммунальную квартиру на Арбате. Гена, естественно, завладел вниманием всей квартиры: он был необычайно обаятельный, необычайно вежливый, сразу в него все влюблялись, он никогда не вызывал раздражения у людей. Та жизнь, которую он принес в коммунальную квартиру, для пожилых дам, которые там существовали, конечно, была несколько экстравагантна, потому что там сразу же началось бог знает что. Единственно, чем можно было обуздать Гену, — это коммунальным порядком. Шпаликов был внесен в график уборки мест общественного пользования, который должен был неукоснительно соблюдаться. И вот однажды в квартиру позвонил некий господин и с сильным английским акцентом пригласил к телефону господина Геннадия Шпаликова. Подошедшая к телефону дама сказала, что Шпаликова нет, и спросила, что ему передать. Тогда этот господин сказал, что это говорят из шведского посольства и просят передать господину Шпаликову, чтобы он посетил посольство, потому что получено известие из Стокгольма о

присуждении ему Королевской академией Нобелевской премии по литературе за этот год. Вся квартира оживилась, всполошилась. Все стали перезваниваться.

А господин с английским акцентом звонил из автомата, и рядом с ним стоял Гена Шпаликов. А этот самый, с английским акцентом, был наш друг, оператор Митя Федоровский, он знал более или менее английский и был подучен Геной позвонить в квартиру и сообщить благую весть.

Эффект был фантастический! Когда Шпаликов вечером вернулся домой, полагаю, что в несколько возбужденном состоянии, первое, что он увидел, был график „сортирного регламента“, где его фамилия торжественно жирным карандашом была вычеркнута, поскольку все понимали, что лауреат Нобелевской премии ну никак не может убирать сортир.

Когда он через некоторое время был разоблачен, репрессий никаких не последовало, однако фамилия его была возвращена в список».

На лекциях в институте рядом с Геной сидел Наум Клейман. Как-то Шпаликов вытянул из-под его руки тетрадку и подсунул ему свою. Там было написано: давай переговариваться через тетрадку. Клейман согласился.

Однажды Гена неожиданно исчез. А через несколько дней так же внезапно появился.

«Я был в Венгрии», — написал в разговорной тетрадке. Клейман ответил: «Врешь!» — «Меня взял с собой мой дядя генерал».

То, что его дядей был известный генерал-полковник С.Н.Переверткин, было сущей правдой. Шпаликов в своих фантазиях был настолько органичен, что порой трудно было отличить правду от выдумки.

Наум заколебался. Гена сидел с абсолютно серьезным лицом. «Знаешь, что я видел своими глазами?» — написал он в тетрадке. И дальше шел рассказ о противостоянии русского парнишки, сидящего в танке, и венгерских ребят, его ровесников. Ребята должны бросить в танк зажигательную смесь, а танкист должен выстрелить в них. Кто кого опередит?.. Этим и кончается рассказ.

Гена переждал паузу и сказал, что никто не выстрелил и никто не бросил смесь…

«Шпаликов уловил какую-то вибрацию эпохи, какие-то открывшиеся пути, — говорит Клейман, — увидел то, что другие не увидели, — в этом был весь Гена. Конечно, он не был в Венгрии. Он ее отсюда видел, и видел лучше, чем те, кто там был».

…А однажды он позвал к себе друзей и сказал: «Вот я

получил кубок на кинофестивале в Бергамо». И действительно, показывает кубок на малахитовом или мраморном основании. «Этот кубок мы должны обмыть!»

Файт высказал сожаление, что Шпаликов сам не съездил за этим кубком в Италию. «А я только что оттуда,» — говорит тот. И рассказывает, как он возвращался из Загорянки, как его встретили на перроне и в приказном порядке отправили в Италию. Прямо в том, в чем он был одет. Его спросили, на каком же языке он там говорил. На русском, ответил он. Там, мол, половина Италии грузины, все по-русски говорят.

Друзья, что интересно, ему поверили. Тут пришел Андрей Тарковский, и они сообщили ему радостно, что Гена был в Италии! «Ну, послушайте! — охладил их пыл Андрей. — Вы сами бываете за рубежом и знаете, что нужен загранпаспорт. Ну как Гена мог так, с электрички, попасть в Италию?» Шпаликов врал именно друзьям, те ему верили.

Иногда он рассказывал фантастические истории, и ему не верили, а потом выяснялось, что это правда. В нем, в его рассказах и фантазиях странно соединялись ирреальность и абсолютная реальность.

Справедливо сказал хорошо знавший Шпаликова Павел Финн, что тогда, в шестидесятых, он весело жил, был абсолютно уверен в своем счастливом пути, в том, что у него будет долгая счастливая жизнь. Так и фильм его называется. Он был уверен в своей власти над жизнью, над будущим. И когда он придумывал про себя все эти забавные истории, на самом деле это были возможные эскизы его существования. Он придумывал для себя различные варианты жизни.

«Застава Ильича»

Еще студентом Шпаликов был приглашен на большую картину — «Застава Ильича».

В письме Юлию Файту он написал, что у него будет, как у Висконти, — две серии. Тогда двухсерийность была большой редкостью.

То, что режиссер Марлен Хуциев, тогда уже светило, стал работать не с маститым сценаристом, а со студентом ВГИКа, было необычайным событием.

Шпаликов привел с собой целую когорту юных талантов, чьи имена впоследствии составят славу советского кинематографа. На экране азартно спорили и веселились вгиковцы: Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Павел Финн, Дмитрий Федоровский с операторского… Играли они не себя, а персонажей, которых в основном сами и придумывали. Это были дети 41-го, ужасы войны отложились у них на уровне подсознания, у некоторых не сохранился образ живого отца. Шпаликов был типичным представителем этого поколения.

Они очень трудно и не сразу, и далеко не всем открывались, эти будущие мастера. Их условно зачислили в «шестидесятники», потому что слава ко многим приходила на излете той эпохи, но потенциал, которым они обладали, не укладывался во временные рамки.

Диапазон знаменитого поколения «шестидесятников» был очень широк: от Петра Тодоровского до Геннадия Шпаликова. У этого поколения в цене было не отличие, а сходство. Сходство же было в основном в том, что все они, и бывшие фронтовики, и дети войны, переживали весну Жизни, пору надежд, «громадье» планов. До космоса ближе, чем до подмосковного Загорска.

…Первый разговор между Хуциевым и Шпаликовым произошел в кафе «Москва». Присутствовала и Наташа Рязанцева.

И началась работа.

— Я помню, — рассказывает Марлен Хуциев, — как Гена с Наташей приходили к нам на Подсосенский с бутылкой вина. Все было красиво, никакой опасности в этом не виделось. Сидели допоздна, говорили о будущей картине, и не только о ней. Читали стихи.

У Хуциева со Шпаликовым сложились хорошие, можно сказать, нежные отношения. Гена называл Марлена «Мен». Это не мешало им собачиться. Верный себе, свободолюбивый Шпаликов устраивал Хуциеву разные штуки. Как-то, к примеру, исчез куда-то, а появившись, объяснил, что подхватил дизентерию и был три

дня на карантине. На самом же деле он был на кинопробах у Тодоровского — тот начинал снимать «Верность». Гену выдали подкрашенные волосы.

Когда началась «Застава», частым гостем на съемках был писатель Виктор Некрасов в неизменной ковбойке с закатанными рукавами. Все с ним подружились. А Шпаликову, как он напишет в стихотворении, посвященном Некрасову, 29 октября 1974 года, буквально за два дня до своей смерти, он стал самым близким из людей.

В «Заставе Ильича» шло разрушение стереотипа. Очеловечивалось, оживлялось, одушевлялось все то, что и должно было быть живым. То же происходило и в жизни. В этом смысле фильм был воплощением духа оттепели. Обнадеживающие перемены ощущались людьми искусства, литературы прежде всего как возможность свободы творчества, расширения диапазона поисков, отмены ограничений, предписанных официальной идеологией, смягчения цензуры. И действительно, стало легче дышать, думать, мечтать.

Но до полной свободы было еще далеко.

Съемочный период длился нескончаемо долго из-за бесконечных переделок, сокращений, дополнений.

В ходе съемок фильму заменили название на, так сказать, более нейтральное, дабы не тревожить тень вождя революции: «Мне двадцать лет».

Но это не положило конец придиркам. От фильма с таким названием, фильма, где главными героями были молодые, требовался комсомольский пафос, устремленность в коммунистическое будущее. «А мы ужасно боялись впасть в пафос, — говорил кинокритик Н.Клейман. — В нашем собратстве Шпаликов был лидером и больше всех противился этому вот внешнему пафосу, велеречивому монологу, диалогу. Ему не чужд был пафос внутренний, спрятанный в глубине, а на поверхности был воздух, пронизанный солнцем. Поэтому диалоги у Шпаликова так легки».

Фильм Хуциева и Шпаликова знаменовал собой новое слово в отечественном кинематографе. Пересказать фильм нельзя. Сюжет здесь растворен в общем потоке повествования, в атмосфере его. Композиционная непринужденность «Заставы», приближенность ее к реальной жизни отражает мироощущение автора и с первых же кадров воспринимается зрителем, будит его воображение, заставляет сопереживать происходящему на экране, домысливать, «дочувствовать» сказанное героями. Потому что герои эти — сами зрители, и этот фильм о молодых, двадцатилетних, наполненный теплом, доброжелательством, нежностью и любовью, — и про

них, людей разных поколений.

«Мне всему человечеству надо счастья!» — под этими словами одного из своих героев мог бы подписаться и сам Шпаликов.

В своей книге «Тогда деревья были большими… Лев Кулиджанов в воспоминаниях жены» кинодраматург Наталья Фокина рассказывает о трудностях, которые испытывали Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов с самого начала работы — с момента подготовки фильма к запуску в производство.

«Сценарий по размеру тянул на две серии. А запустили его как одну. Кинозрелище из размеров повести выросло и тяготело к роману. Кроме того, продленность времени фильма насыщалась подробностями и полутонами, это давало возможность пристальнее и внимательнее рассмотреть человека. Фильм Марлена Хуциева был несомненно новаторским, и это многих раздражало. Особенно тех, кого это лишало премии за выполнение плана. Каждое утро в объединение приходил начальник планового отдела студии и, посмотрев сводку об отснятом метраже, возмущался: „Ну что, ваш гений опять отстает?“ Это раздражение накапливалось и просачивалось за пределы студии.

Как-то днем на студию был высажен десант с Гнездниковского (там располагалось Госкино. — *Л.П.)* во главе с главным редактором Ириной Кокаревой. Вызвали Марлена. Пошли в директорский просмотровый зал. Я никогда не забуду того высокомерного презрения, с которым „через губу“ они общались с Марленом. Материала было много, и материал был хороший, если не сказать превосходный. Смотрели они плохо, переговаривались между собой. Потом просили выключить проекцию. Кончился их „рабочий“ день».

Единственное замечание, которое они успели высказать, вспоминает Н.Фокина, это то, что в квартире родителей Ани, где шел ремонт и стены были оклеены газетами, газета «Правда» была наклеена в перевернутом виде, так что название ее выглядело как бы ниспровергнутым. Хуциев удивился: «Я не обращал внимания на это, мне важно было, чтобы интерьер во время ремонта выглядел достоверно». — «Ну, вот видите, если вы не обращаете внимания на такие вещи… В общем, разбираться с вашим материалом надо серьезно. Вам придется приехать к нам на Гнездниковский». Марлен оказал, что это невозможно, что все эти дни группа работает и днем и ночью, что прерывать съемки нельзя.

В самом деле, Хуциев сутками не покидал студию. Причем даже в этом аврале он не допускал никакой халтуры. Так

работали далеко не все.

После окончания съемок фильм долго еще будут мучить цензоры, пытаясь сделать из него идеологически здоровое произведение.

…Самым тяжелым для всех было запрещение картины «Застава Ильича».

«Объяснить и понять логику этого было невозможно, — пишет Наталья Фокина. — Кинематографисты на студии или в Госкино видели картину, восхищались, удивлялись и многие заимствовали оттуда, по крупице растаскивали открытия, внося их, как бы невзначай, в свои картины. Так что когда наконец картина была выпущена, она не казалась уже такой новаторской. Но это все произошло позднее».

За свой фильм Шпаликов бился с безоглядностью честного человека. Армен Медведев рассказывает: «В тот год я работал в Союзе кинематографистов и оказался на одном из партийных активов, которые время от времени собирал горком КПСС. Там выступал Егорычев, который теперь (2001 год. — *Л.П.)* пытается представить себя жертвой брежневского застоя (просто в свое время невпопад что-то сказал и оказался послом в Скандинавии). Помню, как он вел это собрание, как „проводил линию партии“, как после выступления Шпаликова, который с недоумением говорил: „Но ведь эти рабочие не видели нашего фильма…“ (а в какой-то газете было опубликовано коллективное письмо рабочих против картины), — Егорычев проорал ему в спину, когда Гена сошел с трибуны: „Вы спасибо скажите Виктору Некрасову!“ (В.Некрасов после первых просмотров фильма написал о нем восторженную рецензию, которая также не понравилась начальству.)»

Ругал фильм и Никита Сергеевич Хрущев — разумеется, с подачи секретаря ЦК партии по идеологии Ильичева.

Ильичев с Хуциевым стали даже героями фольклора.

Был такой стишок:

ЦК решило сгоряча,
Что здесь порочности основа,
И пред «Заставой Ильича»
Встает застава Ильичева.

Фильм вышел на экраны в 1965 году в очень сокращенном варианте. И сразу же на него обрушился водопад критики. Шпаликова и Хуциева обвиняли в подражательстве образцам западного кино и в поверхностном решении вопросов, волнующих современную молодежь.

Картина получила специальную премию Венецианского международного кинофестиваля, но крупным событием не стала, уступив место более ярким кинопроизведениям шестидесятых. Постепенно она затерялась в зрительской памяти.

Настоящая премьера фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), который зрители смогли увидать без купюр, состоялась в 1988 году. И конечно, того впечатления, которое он произвел бы в своем первоначальном, неизуродованном, виде в шестидесятые, быть не могло: изменилось время, изменились люди, изменился кинематограф, изменились критерии искусства.

Наверное, и самого Шпаликова, которого к тому времени не было на свете уже 14 лет, картина не порадовала бы.

Наташа, ты не наша

Шпаликов вел вольный образ жизни. Он появлялся с гитарой в разных домах и компаниях — всюду его любили, всюду он был свой. Он создавал праздничную атмосферу. Конечно, не обходилось без возлияний. Он не ограничивал себя, потому что писать, а это было главное, по свидетельству жены, он мог в любом состоянии. Мог пьяным прийти и писать без знаков препинания, без больших букв, а так — подряд, подряд, подряд…

«Его сначала все прекрасно принимали, — рассказывает Рязанцева, — он действительно мог пойти куда угодно. И мы ходили в какие-то кафе, в гости, на какие-то свадьбы… Он был везде уместен, пока не стал пить неуправляемо. Это было уже совсем невыносимо. Я с этим бороться не могла, как борются по-настоящему женщины, которые понимают в этом толк. Взрослые женщины, которые выходят замуж за писателей, за актеров пьющих. Но они взрослые и знают, что с этим делать и как этим управлять. А когда это меняет личность и человек становится совершенно непредсказуемым, — с этим невозможно жить».

Они все больше отдалялись друг от друга.

«Все последние вечера, — писал Шпаликов в дневнике, — мы проводили врозь. Вот так все и кончается. Как это называют: смеясь расставаться с прошлым? Посмеиваясь — боевая ничья».

В другом месте он пишет (к сожалению, все записи не датированы): «Я заставляю себя не думать про тебя, но, в сущности, я понимаю, что здесь все определилось давным-давно, и все-таки я держусь за это, не знаю почему — знаю: привык и еще потому, что жалко отдавать кому-нибудь. Наверняка знаю, что если бы ты умерла (простите, пожалуйста), мне было бы проще… Я не очень понимаю, зачем ты вышла за меня замуж, хотя нет, понимаю, и ты сейчас понимаешь, что ошиблась и никакое тут не пьянство…»

Пьянство ни при чем? Но как же тогда относиться к признанию самого Шпаликова, доверенному дневнику?

«…Около двух лет я беспрерывно пью, и теперь это стало уже „нормой“ поведения… У меня такое горе на душе, и все еще было бы ничего, если бы я не понимал внутренне, что и Наташе я тоже не нужен и что много раз с ней я чувствовал себя почти так же, но сейчас я держусь за нее, мне ни к чему себя обманывать, я не верю, что мы можем помочь друг другу, но я так хочу этого… Раньше у меня бывали вот такие дни такой пустоты, но это проходило. Вот уже месяц я живу так, и это не проходит».

Юлий Файт объясняет причину их разрыва по-другому: «Два

очень талантливых человека, у Гены свой характер, у Наташи — свой, оба очень индивидуальные, очень самостоятельные люди, писатели настоящие, им, наверное, трудно было вместе».

Я думаю, дело было не в разладе с Наташей, а в разладе Шпаликова с самим собой. Алкоголь усугублял этот разлад, усугублял творческую неудовлетворенность. И он же, алкоголь, успокаивал, веселил. «Примешь с утра — и весь день свободен!» — знаменитый шпаликовский афоризм.

А ведь еще не так давно, 14 мая 1956 года, он написал в дневнике: «Вчера покончил с собой Фадеев. Сегодня во всех газетах его портреты и медицинское свидетельство: „Страдал тяжелой болезнью — алкоголизмом, во время душевной депрессии, вызванной острым приступом алкоголизма, покончил жизнь самоубийством“.

Жалости нет, алкоголиков не жалеют. Какими же руками он писал, как мог говорить о светлом, чистом и высоком — пьяница по существу. Братья-писатели, конечно, наплетут к случившемуся всякую душевную ерунду, но нужно сказать прямо — человек, который учил целое поколение молодежи твердости, непримиримости и чистоте — просто пьяница, талантливый болтун с сожженными водкой внутренностями. Оправдать его нечем».

Понятно — юношеский максимализм. Не будем забывать, что в суворовском училище он был членом комсомольского бюро взвода. Так что же сделали с его жизнью, что сделал он с ней сам, смолоду ступив на тот же путь, что и Фадеев, и подобно ему оборвавший свою жизнь?

Тогда, в пятидесятые, плохие предчувствия не посещали его. Он знал, кто он такой, и люди вокруг знали, кто он. Он был очень знаменит в Москве, его первые песни, которые он стал петь почти одновременно с Галичем, Окуджавой и Высоцким, даже раньше, чем Высоцкий, прославили его очень быстро.

«Не знаю, кто так сегодня знаменит, — сказал в телевизионной передаче о Геннадии Шпаликове „Как уходят кумиры“ известный кинорежиссер Сергей Соловьев. — В свое время, как Алла Пугачева в народе, так он был знаменит в кинематографической среде (и в литературной тоже, добавлю я. — *Л.П.)* Мы с ним познакомились, будучи свидетелями на свадьбе. После свадьбы покорешились. Причем ко-решение было относительное, потому что я не мог поверить ни своему счастью, ни своему немыслимому жизненному везению, что я сижу вот тут с Геной Шпаликовым».

Шпаликов, говоря его стихами, «жил как жил, спешил, смешил», общался с друзьями, интересными людьми, много

работал. Наташа всегда была рядом.

Однако ее стало тяготить такое времяпрепровождение. За себя она не боялась. Говорила: «Я до обидного здоровый человек, и мне эстетика загула чужда». Боялась она за мужа. Чтобы тот не напился, не ляпнул что-нибудь некстати, не обидел бы кого, нормально добрался до дома…

Надо было озаботиться и своей судьбой. Уделяя много времени и внимания Шпаликову, она, талантливый по общему мнению, кинодраматург, по сути была лишена возможности в полную силу заниматься собственным творчеством.

Были, конечно, и другие причины все усугубляющегося их разлада — о них пишет Шпаликов в дневнике.

В конце концов брак распался.

Через некоторое время Рязанцева вышла замуж за кинорежиссера Илью Авербаха, живущего в Ленинграде, и стала жить на два города, работая, как и муж, на «Ленфильме».

Шпаликов остался один.

Что бы он там ни говорил о закономерности их с Наташей развода, он тяжело переживал его.

«Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? О чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял и думал, куда мне идти одному».

Эти строки из дневника перекликаются с тоже грустными стихами:

Ах, улицы, единственный приют
Не для бездомных — для живущих в городе.
Мне улицы покоя не дают,
Они мои товарищи и вороги.

Мне кажется — не я по ним иду,
А подчиняясь, двигаю ногами,
А улицы ведут меня, ведут
По заданной единожды программе.

Программе переулков дорогих,
Намерений веселых и благих.

И опять дневник: «…Надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье».

Я позволила себе небольшую вольность: эта дневниковая запись относится к 1958 году, и, думая о женитьбе, он имел в виду Наташу. Теперь, когда ее не стало рядом, когда в прошлое ушли и их счастливые дни, которых было немало, Шпаликов чувство вал себя по-настоящему одиноким.

Годы спустя он напишет идущие из самого сердца стихи:

Наташа, ты не наша,
А все равно — моя.
Одна хлебалась каша,
Сидели без рубля.

Да и не в этом дело,
Подумаешь — рубли.
Я так же оробело
Люблю тебя.
Любил.

«Я шагаю по Москве»

«…Пришел Гена Шпаликов, — рассказывает в своей книге „Безбилетный пассажир“ кинорежиссер Георгий Данелия, — принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал для меня классный сценарий:

— Дождь, посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается… Нравится?

— Слепой дождик? При солнце?

— Это идея.

— А дальше?

— А дальше придумаем».

Шпаликов был поэт, и Данелия ценил в нем это. И понял, что это прекрасный заход для фильма, камертон, по которому можно настраивать действие. Удачная деталь — великое дело. Недаром среди студентов Литературного института в ходу был изобретенный ими афоризм: «Люди гибнут за деталь».

Предложение было принято, и работа началась.

В личной жизни Шпаликова произошли большие перемены.

«Вдруг у Гены, — рассказывает Юлий Файт, — появилась, как он назвал ее, „шведская девушка“. Инна Гулая ходила с длинными светлыми волосами, потому и называлась она „шведской девушкой“. И к этому времени уже прославилась замечательными актерскими работами, была прелестна, и их встреча была таким счастьем для Гены!»

Для Инны — тоже. Она восторженно сообщит подруге, актрисе Елене Королевой: «Я познакомилась с таким парнем! Потрясающим! Красивым необыкновенно, такой интересный! Я его к тебе приведу».

И привела Гену Шпаликова. Подруге он не показался особенно красивым, но было видно, что влюблена Инна в него смертельно. И он тоже.

Павел Финн вспоминает, что, когда еще у них был роман и Инна уехала на кинофестиваль в Карловы Вары с картиной «Когда деревья были большими», где картина получала приз, к нему заявился Гена с огромной фотографией Инны. Сказал, что ему нужно позвонить, взял телефон на длинном проводе и пошел в дальнюю комнату. Его не было часа полтора. Павел решил посмотреть, что он там так долго делает. Входит в комнату, а Гена лежит на кровати, на груди фотография Инны, на фотографии стоит телефон, трубка в руке… Гена не спит. Это

значит, все это время он говорил с Карловыми Варами, со всеми вытекающими отсюда материальными последствиями…

Они поженились.

Актер Евгений Стеблов, который учился вместе с Инной на одном курсе Щукинского театрального училища, вспоминает, что впервые отчетливо и ярко запомнил Шпаликова, когда студенты отправлялись на картошку. Молодожены стояли рядом, очень счастливые, до самого отправления автобуса.

Любовь не синоним счастья. Но тогда, когда все у них начиналось, это были синонимы. Гена пишет стихи:

Инне

Под ветром сосны хорошо шумят,
Светает рано. Ты не просыпайся,
Ко мне плечом горячим прикасайся,
Твой сон качают сосны и хранят.

Тебя держу, тебя во сне несу
И слышу — дятел дерево колотит,
Сегодня воскресение в лесу,
На даче, на шоссе и на болоте.

Покой еще не начатого дня,
Неясные предметов очертанья.
Я думаю, как ты вошла в меня,
В мои дела, заботы и сознанье.

Уходят в будни наши торжества,
Но по утрам хочу я просыпаться,
Искать слова и забывать слова,
Надеяться, любить, повиноваться.

…Тем временем шла работа над фильмом «Я шагаю по Москве». Сценарий Шпаликов и Данелия написали быстро, но на полгода застряли с ним в начале пути.

Данелия всегда долго работал над сценарием, но на этот раз режиссер был ни при чем.

Дело в том, что на недавней встрече с интеллигенцией Н. С. Хрущев назвал фильм Шпаликова и Хуциева «Застава Ильича» идеологически вредным, мол, три парня и девушка шляются по городу и ничего не делают. И в их со Шпаликовым сценарии молодые ребята и девушка тоже ходят по Москве и тоже ничего не делают. Надо было положение исправлять: уточнять мысль,

прочерчивать сюжет, разрабатывать характеры. И это только по замечаниям худсовета объединения! А впереди еще было семь (!) инстанций. Венчал всю эту пирамиду председатель Госкино.

Данелии вся эта волокита надоела, и он, нарушив субординацию, отнес сценарий прямо в Госкино:

— Прочитайте и скажите, стоит дальше работать или бросить.

Зампред Госкино Баскаков читать не стал. Спросил:

— Без фиги в кармане?

— Без.

— Слово?

— Слово.

И фильм запустили в производство.

Фильм они со Шпаликовым снимали легко, быстро и весело, им нравилось то, что они делали. Но на худсовете, им сказали:

— Непонятно, о чем фильм.

— О хороших людях.

— Этого мало. Нужен эпизод, который уточнял бы смысл.

Они и сами чувствовали, что фильму чего-то не хватает, и сразу после худсовета засели за работу. Но в тот вечер ничего придумать им не удалось.

На следующий день Данелия со Шпаликовым поехали забирать из роддома Инну Гулая с дочкой. По дороге в машине придумали, что герой будущего фильма Володя не просто так приехал в столицу — начинающий писатель, он прислал свой рассказ известному писателю и должен получить его отзыв.

…У Гены в комнате вокруг новорожденной собрались: мама Гены, мама Инны, соседка, тут же Шпаликов с Данелией. И среди всей этой приятной суеты родилась та самая сцена с полотером, который выдал себя за писателя.

«Полотер у нас оказался литературно подкованным, — пишет Георгий Данелия в своей книге „Безбилетный пассажир“, — прочитал рассказ Володи и говорит ему то, что говорили нам „они“ (члены худсовета. — *Л.П.)*. А Володя не соглашается и говорит полотеру то, что говорили „им“ мы.

В фильме эпизод получился симпатичным, полотера очень смешно сыграл режиссер Владимир Басов — это был его актерский дебют».

Худсовет объединения картину пропустил. Но в Госкино после просмотра им опять сказали:

— Непонятно, о чем фильм.

— Это комедия, — ответили авторы.

Почему-то считается, что комедия может быть ни о чем.

— А почему не смешно?

— Потому что это лирическая комедия.

— Тогда напишите, что лирическая.

Так и написали.

…Позже, когда журналисты задавали Данелии вопрос, что он хотел сказать тем или иным фильмом, он отвечал: это просто лекарство против стресса.

«И с тех пор все фильмы, где не насилуют и не убивают, — пишет Данелия, — а также и те, где не очень часто насилуют и убивают, причисляют к жанру „лекарство против стресса“.

Сейчас такие фильмы не снимают. И как хорошо, что срок годности „лекарства“ Шпаликова и Данелии не истек и по сей день.

На каждом этапе съемочного периода „Я шагаю по Москве“ возникали трудности: в работе над сценарием, в „проталкивании“ его, в подборе актеров, в поисках подхода к каждому из них… Данелия со свойственным ему чувством юмора описывает эту эпопею.

Начать со Шпаликова. Более недисциплинированного человека, по признанию Данелии, он не встречал — видимо, суворовское училище навсегда отбило у него охоту к любому порядку. Когда они работали над сценарием в Доме творчества в Болшеве, он мог выйти из номера в тапочках на минуту и пропасть на два дня. Вернувшись, объяснял: „Ребята ехали в Москву, ну и я с ними. Думал, позвоню. И забыл“.

Несмотря на всю свою любовь к Шпаликову, Данелия, как и Марлен Хуциев, далеко не всегда снисходительно относился к Гениной недисциплинированности. Евгений Стеблов, который сыграл в фильме „Я шагаю по Москве“ одного из трех молодых людей, был свидетелем того, как после очередного просмотра-банкета картины, имевшей, к слову, потрясающий успех, между Георгием Николаевичем и Геной состоялся очень резкий разговор. Данелия был крайне недоволен тем, что Шпаликов редко появлялся на съемочной площадке. Они чуть не подрались. Актеру Алексею Локтеву, игравшему в фильме начинающего писателя, пришлось даже их разнимать.

Главную роль, метростроевца Николая, играл Никита Михалков. Порекомендовал его Гена, который дружил с братом Никиты Андроном Кончаловским.

— Никита не годится — он маленький.

Данелия видел его полгода назад.

— А ты его вызови.

Явился верзила на голову выше Данелии… Пока бесконечно переделывался сценарий, получилось как у Маршака: „За время пути собачка могла подрасти“.

Начали снимать. Через неделю ассистент по актерам Лика Ароновна сообщает:

— Михалков отказывается сниматься. Требует двадцать пять рублей в день. (Ставка молодой звезды. — *Л.П.)*

Свое требование он объяснил так: „Я играю главную роль, а получаю, как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо“.

Он имел в виду Лешу Локтева, Галю Польских.

Данелия объяснил ему, что они уже известные актеры, играли в главных ролях. А Никита пока еще не актер, школьник, а платят ему столько же, сколько им, 16 рублей.

— Или двадцать пять, или я сниматься отказываюсь!

— Ну, как знаешь.

Данелия обратился к Лике Ароновне:

— Вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали, и спроси, какой у него размер ноги. Если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать.

— Кого? — занервничал Никита.

— Какая тебе разница — кого. Ты же у нас уже не снимаешься!

— Но вы меня пять дней снимали. Вам же придется переснимать!

— Это уже не твоя забота.

И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:

— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет!

Дальше работали дружно.

Без смеха читать нельзя и то, как Ролан Быков, приглашенный на небольшую роль в фильме, буквально изводил режиссера и всю группу бесконечными: „Сейчас, склею эпизод и приеду“, „Два кадра переставлю и приеду“, „Все, Гия, я готов. Едем…“

Ролан никак не мог оторваться от монтажа своего фильма.

И потом на съемочной площадке, верный себе, он все шлифовал, совершенствовал, предлагал новые и новые варианты, пока Данелия не пригрозил:

— Дальше пленку за свой счет покупать будешь. Все, хватит.

Незабываем эпизод, когда Шпаликов сочиняет слова песни, звучащей в фильме.

…Снимался памятник Маяковскому для сцены „Вечер. Засыпают памятники“. Юсов с камерой, операторская группа и режиссер сидят на крыше ресторана „София“ — ждут вечерний режим.

— Снимайте, уже красиво! — крикнул появившийся внизу Шпаликов. Он знал, что сегодня киногруппе выдали зарплату и после съемки все окажутся в ресторане.

— Рано еще! — крикнул сверху Данелия. — Слова сочинил?

Геннадий не расслышал. Режиссер повторил вопрос в мегафон. Песня нужна была срочно — Колька поет ее в кадре. Композитор Петров написал музыку, а слов к песне все еще не было.

Сначала Гена пытался подсунуть свои старые стихи: „Я шагаю по Москве, как шагают по доске“, — проорал он наверх. Номер не прошел, о чем ему прокричали с крыши.

Картина была еще та! Людная площадь, прохожие, а двое ненормальных кричат какую-то чушь — один с крыши, другой с тротуара.

— Если не сочинишь, никуда не пойдем, — пригрозил Данелия.

И так, перекрикиваясь и советуясь с режиссером, Шпаликов сочинял текст песни. Юсов начал съемку. А когда закончил ее, была закончена и песня.

Бывает все на свете хорошо,
В чем дело, сразу не поймешь, —
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь.

Мелькнет в толпе знакомое лицо,
Веселые глаза,
А в них бежит Садовое кольцо,
А в них блестит Садовое кольцо
И летняя гроза.

А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.

Над лодкой белый парус распущу,
Пока не знаю с кем,
А если я по дому загрущу,
Под снегом я фиалку отыщу

И вспомню о Москве.

„Песню приняли, — пишет Данелия, — но попросили заменить в последнем куплете слова „Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где“.

— Что значит „Пока не знаю где“? Что ваш герой, в Израиль собрался или в США?

Заменили. Получилось „Пока не знаю с кем“. Совсем хорошо стало, — подумал я. — Не знает Колька, с кем он, с ЦРУ или с Моссадом“.

Такие бессмысленные придирки, никому, кроме бдительных чиновников от искусства, не приходящие в голову, в то время были в порядке вещей.

Не могу не позабавить читателя анекдотической историей, случившейся в 60-е годы с молодым, но уже известным всей стране карикатуристом Виталием Песковым. Он тогда сотрудничал в отделе юмора и сатиры „Литературной газеты“, на знаменитой 16-й полосе, а я работала в редакции русской литературы. Мы дружили, я люблю остроумных людей.

Надо сказать, что, помимо карикатур, которые публиковались в печати, Песков рисовал мультфильмы.

Однажды Виталий заходит ко мне в кабинет, садится в кресло, вытягивает свои длинные ноги и начинает хохотать.

— Что случилось? — спросила я.

— Мой мультик, тот, про луковку, прикрыли.

— И ты смеешься?

— Ты тоже будешь смеяться, когда узнаешь почему. Из-за названия „От тебя одни слезы“. Говорят, прямой намек на Брежнева».

…Расстанемся с прошлым смеясь. Особенно с плохим в нем.

Фильм «Я шагаю по Москве» вышел на экраны. Кому-то он понравился, кому-то нет. В застольных разговорах в Доме кино прошуршало, что вот, мол, Шпаликов с Данелией подшустрили, написали лирическую комедию на потребу власти. Кое-кто говорил, что не подаст им руки…

Шпаликов огорчался. А для Данелии было важнее всего то, что фильм понравился людям, чье мнение было ему дорого: Ромму, Бондарчуку, писателю Конецкому. И отцу, человеку на похвалы скупому.

Песня перемахнула рамки экрана и зажила самостоятельной жизнью. Помимо славы, она приносила Шпаликову и деньги.

Фильм о любви, дружбе, человеческой доброте получился

еще и самым «московским» фильмом, передающим неповторимый дух столицы нашей Родины. Так возвышенно, так нежно про Москву не писал еще никто, скажет Сергей Соловьев и посожалеет, что в Москве нет памятника Шпаликову, ее певцу.

Картина впишет имена молодого сценариста Геннадия Шпаликова и тогда еще малоизвестного режиссера Георгия Данелии в историю отечественного кино.

Для Шпаликова «Я шагаю по Москве» станет первым триумфом. И, к сожалению, единственным — подобное ему больше не суждено испытать.

…Завершая разговор о фильме «Я шагаю по Москве», Данелия в своей книге пишет:

«Мне приятно, когда этот фильм хвалят. Он мне и сегодня нравится. Но понимаю… Если бы не поэтический взгляд Геннадия Шпаликова — фильма бы не было. Если бы не камера Вадима Юсова — фильма бы не было. Если бы не музыка Андрея Петрова, если бы не обаяние молодых актеров — фильма бы не было.

А если бы меня не было?..»

Надо же такому случиться, что, когда я писала эту главу, мне в руки — очень кстати! — попала книга Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля «О поисках любви», в которую, помимо киносценариев Зюскинда, вошел его аналитический разбор их с режиссером Дитлем работы над фильмом «Россини», или «Убийственный вопрос, кто с кем спал».

Статья с подзаголовком «О некоторых, трудностях, возникших при работе над сценарием» на самом деле охватывает все этапы создания фильма: от замысла («Давай снимем что-нибудь вместе! Что-ни-будь небольшое, изящное, фильм о людях…») до его воплощения на экране.

Меня поразило, насколько схожи трудности, с которыми сталкивались немецкие кинематографисты и наши — в данном случае Шпаликов, Хуциев и Данелия — в своей работе.

Начать со сценария. Первые насчитали их восемь вариантов. Наши, особенно в случае с «Заставой Ильича», сбились со счета. И, разумеется, как обычно, сценарии дописывались и переписывались по ходу съемок.

«Вопреки расхожему мнению, написание сценариев — это не ремесло, которым можно овладеть раз и навсегда, — пишет Зюскинд. — Это занятие скорее похоже на любительское изобретательство, в основе которого лежит метод „проб и ошибок“. И совершенно нормально, что, работая над сценарием, то и дело оказываешься перед кучей осколков. И опыт тут ничего

не дает. Опыт даже мешает, он заражает скептицизмом, осторожностью, страхом, сводит на нет вдохновение».

Перейдя к съемкам, Зюскинд зримо описывает, сколько времени, упорства, творческой энергии, энтузиазма надо вложить в свой труд, и все лишь для того, чтобы в срок представить кинозрителям фильм, о котором до самого конца съемок никто не может сказать: удался ли он и увидит ли его публика вообще.

…Статья интересная, но, в сущности, не открывает ничего нового для профессиональных кинематографистов, меня привлекла она, прежде всего своим названием, снайперски точно определяющим предмет разговора: «Кино — это война, мой друг!»

Слово найдено!

Но если создатели фильма «Россини», как говорится, всю дорогу воевали сами с собой, с боями занимая новые творческие рубежи, то у Шпаликова, Хуциева и Данелии (вернемся к ним) фронт «боевых действии» был куда шире: от худсоветов, редакторов разного уровня — до Госкино. Надо было проявлять чудеса дипломатии, прибегать к военной хитрости (на войне, как на войне!), к эзопову языку, чтобы отстоять свой замысел, свою позицию. Чтобы победить.

В этом смысле «Застава Ильича», пусть искромсанная, переименованная и положенная на полку, — по большому счету победа Хуциева и Шпаликова. А «Я шагаю по Москве» — победа Данелии и Шпаликова, несмотря на критические баталии, развернувшиеся по поводу фильма на страницах прессы.

В ней было что-то ангельское

Шестидесятые годы ознаменовались для отечественного кинематографа рождением множества талантов. Если говорить о киноактрисах, то появление одновременно Анастасии Вертинской, Марианны Вертинской, Жанны Прохоренко, Жанны Болотовой, Александры Завьяловой, Светланы Светличной — перечисление можно продолжить — было подобно некоему демографическому взрыву.

Инна Гулая выделялась даже на таком ярком фоне. Она была более чем красива. В красоте ее крылась какая-то тайна. Ее лицо притягивало, как магнит, такое вряд ли еще встретишь. Мало кто не запомнит ее, хоть раз увидев на экране, женщину несусветной, как выразился Александр Пороховщиков, красоты, с глазами-омутами, обладающими почти гипнотическим свойством. И актрисой она была значительной, неординарной, оригинальной.

Инна Гулая родилась в Харькове 9 мая 1941 года. Позже семья переехала в Москву, где Инна окончила школу. Отец ее умер рано, и мать воспитывала ее одна.

Знавшая Инну в те годы актриса Валентина Малявина пишет в своей книге «Услышь меня, чистый сердцем»: «Мы познакомились с Инной давным-давно, когда я еще училась в школе. Нам было лет по семнадцать. Познакомили нас Саша Збруев и Ваня Бортник. Они уже учились в Щукинском.

У Инночки была любовь с Ваней Бортником. У меня — с Сашей Збруевым. Это были еще школьные романы».

Саша и Ваня, когда знакомили их, сказали хором: «Познакомьтесь!» Это было смешно, и они расхохотались. У них было веселое настроение. Инна же как-то слишком серьезно заметила:

— Вы что? Совсем того? Сумасшедшие? — И протянула Вале руку. — Инна.

Малявина назвала свое имя, и все вчетвером пошли в гости к ее подруге. Там вдруг развеселилась Инна, заражая всех своим смехом. Ей вообще были свойственны перепады настроения. А потом предложила Вале: «Давай с тобой дружить!»

И они подружились.

Вскоре Инна стала учиться в театральной студии при Центральном Детском театре, где ее педагогами были М.О. Кнебель и А.В. Эфрос. Малявина поступила в Школу-студию МХАТ. Детский театр и Школа-студия были совсем рядом, и подруги виделись почти ежедневно, во время перерыва вместе пили кофе в кафе «Артистическое». Малявина и Збруев

поженились. Инна замуж не спешила.

Ее артистическая карьера уже началась. В театре она и Геннадий Сейфулин исполняли главные роли в знаменитом спектакле А. В. Эфроса «Друг мой, Колька!».

В 1960 году Гулая сыграла главную роль в картине Ордынского «Тучи над Борском» (до этого у нее была эпизодическая — в фильме «Шумный день» Г. Натансона по пьесе В. Розова.). Картина мгновенно привлекла внимание и профессионалов-кинематографистов, и зрителей к Инне Гулая, тогда еще студентке. В ней увидели актрису щедрой самоотдачи и большой творческой потенции.

Тема фильма «Тучи над Борском» была трудной. Инна играла свою роль очень эмоционально. Я давно смотрела этот фильм, но до сих пор передо мной стоят глаза девочки, попавшей в сети сектантов — глаза Инны, а в ушах звучит ее истовое, почти истеричное: «Дай, Господи! Дай, Господи! Дай, Господи!» Эта сцена не могла не потрясти.

В «Шумном дне» она сыграла школьницу Фиру, которая намеревается поставить на комсомольском собрании вопрос об аморальном поведении одноклассника: он написал записку с признанием в любви ее подруге. На самом деле за этой «принципиальностью» крылась ревность и великая обида, что записка эта предназначена не ей. Эпизод небольшой, но сыгран юной актрисой чрезвычайно убедительно.

Подлинным триумфом для актрисы стала роль деревенской девушки Наташи в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими». Кинодраматург Наталья Фокина, жена и друг режиссера Льва Кулиджанова, в своей книге воспоминаний «Тогда деревья были большими…» рассказывает об истории создания фильма.

Путь его к экрану был нелегок.

Началось все со сценария. Кулиджанову он понравился, и он решил ставить по нему фильм. Дружно хвалили сценарий и в объединении. Но неожиданно он вызвал возражение у главного редактора: тот затруднялся с определением рубрики, по которой можно квалифицировать «Когда деревья были большими», ведь этот сценарий «ни про что». В конце концов, отнесли его к колхозной тематике.

Ростислав Николаевич Юренев, ознакомившись с содержанием фильма на стадии режиссерского сценария, сказал: «Как же это могли пропустить? Ведь эта история не проходима. Но дай бог, чтобы я был не прав».

Однако он оказался прав. Руководящие инстанции признали сценарий безыдейным.

«Почему главный герой фильма вызывал возмущение у редакторов главка? — пишет Н.Фокина. — Потому что он противоречил установкам, принятым еще в сталинские годы. Герою фильма полагалось быть если рабочим, то передовиком, если колхозником, то „знатным“… В искусстве того времени очень четко соблюдалась табель о рангах. На знаменитой творческой конференция „Мосфильма“ 1956 года впервые поставил это положение дел под сомнение М. И. Ромм, сказавший о том, что у нас наложили эмбарго на три темы, извечно питающие искусство, — на тему любви, голода и смерти. У нас даже паралитик должен быть самым здоровым (имелся в виду фильм „Неоконченная повесть“). Я не мог не воскликнуть, глядя на него: „Да это же наш советский паралитик!“

Герой в кино должен быть самым-самым. И вдруг жулик-неудачник, самозванец, в конце концов, пробудившийся к нравственному существованию. Проблемы нравственности в применении к деклассированным элементам изгонялись из искусства долгие годы. И вдруг такой герой!»

С самого начала съемок фильма «Когда деревья были большими» возникли трудности и с подбором актеров прежде всего на главные роли: деревенской девушки Наташи и Кузьмы Кузьмича, человека, так сказать, без определенных занятий, который приезжает в деревню и выдает себя за ее отца.

Поначалу в роли главного героя фильма хотели снимать Василия Меркурьева, но тут появилась кандидатура Юрия Никулина, и утвердили его.

С выбором Юрия Никулина на роль Кузьмы Кузьмича многое переменилось в концепции сценария — его надо было пересмотреть и во многом переписать под Никулина. Сценарист Николай Фигуровский, человек одаренный и чуткий, понял это так же хорошо, как и режиссер, и зажегся творческим процессом.

На роль Наташи пробовалось очень много молоденьких девушек — никто из них не подошел. И тут появляется Инна Гулая. Не без колебаний, но ее в конце концов взяли. Кандидатура Юрия Никулина тоже вызывала большие сомнения и споры, но утвердили и его. А когда они объединились — получился очень интересный альянс.

Играть в таком сложном по своим задачам фильме трудно даже для опытной актрисы. А Гулая не играла на съемочной площадке, а жила. С ее амплуа героини она не боялась выглядеть некрасивой, простоватой. Городская девушка, она органично вписалась в деревенский пейзаж, стала неотличима от деревенских жителей.

Взять сцену на станции, когда Наташа встречает Кузьму Кузьмича. Останавливается поезд, и из него на перрон сходит ее «отец». Она бежит к нему, и ноги у нее, носками внутрь, заплетаются. Когда сняли этот кадр, кто-то из киногруппы сказал Инне: «Как ты ходишь? Ты ноги везешь, как цапля! Ты должна ходить как следует!» Она страшно разозлилась, яростно сверкнула глазами: «Если вы ничего не понимаете, не давайте мне никаких советов!»

Лучезарная, трепетная, пугливая — говорил об Инне Пороховщиков, она была основательной и порой жесткой. Это проявлялось и в личной жизни, и на сценической площадке. Она не терпела несправедливости, могла спорить с режиссерами, отстаивая своих коллег-актеров, иногда ценой собственного благополучия. Но ей многое прощалось — талант!

Партнер Инны Юрий Никулин был просто очарован ее игрой. Она импровизировала и придумывала все новые и новые интересные решения, «приспособления», как называются у актеров различные «говорящие» детали, не прописанные в сценарии, не пришедшие в голову режиссеру. К примеру, она ходила на съемке босая. Ей говорили: ну надень хоть тапочки. Она отвечала: «нет-нет-нет».

Но это — внешний рисунок роли. А как естественна она в диалогах. Здесь все правда: интонация, выражение глаз, паузы…

Приведу лишь два диалога — они мне видятся ключевыми. (Об игре Юрия Никулина, думаю, говорить излишне.)

Наташа. Я очень хорошо тебя помню…

Кузьма Кузьмич. Откуда?

Наташа. И еще помню… Около нашего дома деревья были такие большие-большие.

Кузьма Кузьмич. А-а, тогда тебе все деревья большими казались.

И — кульминационная сцена.

— Знаешь, Наташа, я ведь не отец твой!

— Ну-ну, говори, кто же ты?

— Прохвост, вот кто! Жулик. Услышал как-то, что живет, мол, Наташа одинокая, дай, думаю, пристроюсь. Не учел, паразит, что в таком положении совесть может пробудиться.

— Ну и силен ты врать! Неужели ты думаешь, что я тебе поверю, что ты не мой отец. Когда я как сейчас помню, с тех пор еще помню…

— С каких?

— С каких… Я тебе уже говорила: когда еще деревья были большими.

— Да я тогда совсем другим был, совсем не такой был.

— Значит, все-таки был? Был?

— Быть-то я, конечно, был…

— Ну и чего ты достиг своим враньем? Сделал мне только больно, и все.

«Более счастливой экспедиции не было в нашей жизни. Более радостной и согласной работы представить себе невозможно, — пишет Н.Фокина. — Сценарий переписывался во время съемок, на которых Коля (Фигуровский. — *Л.П.)* присутствовал непременно.

Другой, и очень важной частью фильма была Наташа в исполнении Инны Гулая. В отличие от Юры, Инна была скорее нелюдимой и неконтактной. Юра часто удивлялся на ее неожиданные выходки. Поселили Инну вместе с Людой Чурсиной и Таней Тишурой. Дом их был центром притяжения, особенно для Коли Фигуровского. Он часто посещал их, восхищался и удивлялся и девичьей привлекательностью, и талантом Инны, который был ее тяжелым бременем и игом, порабощал и мучил ее и ее близких. Вокруг себя она вселяла беспокойство и дискомфорт, который потом очень выразительно сформировался в семейной драме Инны с Геной Шпаликовым. Какая-то в ней была „черная дыра“, по первому взгляду трудно ее было увидеть, глядя на ее привлекательную внешность, бездонные выразительные глаза. И в своей работе она шла наперекор своей внешности, не боялась быть некрасивой».

В январе 1962 года в Доме кино состоялась премьера фильма, а в марте — в кинотеатре «Россия». Зритель принял картину очень хорошо. Создатели картины мечтали о новых проектах, где можно было бы опять встретиться на съемочной площадке с Юрием Никулиным и Инной Гулая.

Фильм Л.Кулиджанова «Когда деревья были большими» и сегодня не потускнел.

«Это выдающееся произведение советского кино, — сказал о нем Карен Шахназаров, — поразительная картина, лежащая, безусловно, в русле традиций русской литературы, лучшего советского отечественного кино. То, что там происходит с персонажами Ю. Никулина и И. Гулая — это поразительно. Это выдающаяся картина. И так вот сложилась судьба: мне кажется, это просто недооцененная картина и во многом являет собой замечательный образец режиссуры как таковой. Тончайшей».

В шестидесятые фильм произвел настоящий фурор. Вместе с режиссером Л.Кулиджановым Инна представляла картину на фестивале в Каннах.

Все заговорили о ее незаурядном таланте и удивительной неординарности. Гулая была уже замужем за Шпаликовым, когда Михаил Швейцер предложил ей роль в своем фильме «Время,

вперед». Он, как, впрочем, и все, кто имел дело с Гулая, высоко ценил ее как актрису и человека.

Годы спустя М. Швейцер скажет, что погубил Инну, в которой он видел что-то ангельское, Геннадий Шпаликов.

Всё было веселым вначале

«Как-то Инна прибегает на Арбат, — вспоминает Валентина Малявина, — я была у мамы, и рассказывает мне про Гену Шпаликова. Его любили все: и Андрей Тарковский, и Андрон Кончаловский, и Ромадины Миша и Витюша, и Маша Вертинская, и все его знакомые и незнакомые тоже любили.

Гена — светлый человек! Инна до безумия влюбилась в Гену Гена так же влюбился в Инну. Он все звал ее: „Родина моя!“ Они сняли комнату на Арбате. Большая зала, перегороженная красивым гобеленом на две комнаты. В одной из них — кабинет Гены. Вместо письменного стола — столик из кафе, из голубой пластмассы с железным кантиком. Вся стена над столом — в фотографиях: Маша Вертинская (она играла главную роль в „Заставе Ильича“), Светлана Светличная, Наталия Рязанцева, Ирма Рауш… Инна мирилась с тем, что Гену увлекали очаровательные женщины.

— Он ведь гений… И я не знаю, как мне вести себя с ним.

Они были счастливы: Инна и Гена. Молоды. Талантливы. Влюблены. Инна решила продлить студенческие годы и стала готовиться в Театральное училище им. Щукина. Очень боялась конкурса: „А вдруг провалюсь?“

Инна успешно прошла три тура и была принята».

К моменту знакомства со Шпаликовым Гулая была, пожалуй, более знаменита, нежели он. Это неудивительно: актриса на виду, у нее более короткий путь к известности. Сценарист же — фигура теневая, закадровая. Как поэт он был мало кому известен. Разве что песни его пользовались популярностью, но их было не так уж и много.

Чаще других, помимо песни «Я шагаю по Москве», пели на эстраде, на сцене клубов, под гитару в компаниях шпаликовскую «Палубу», впервые прозвучавшую в кинофильме Алексея Сахарова «Коллеги». Стоит напомнить слова, как сразу возникает мелодия этой лирической песни, вызывающей улыбку, поднимающей настроение.

На меня надвигается
По реке битый лед.
На реке навигация,
На реке пароход.

Пароход белый-беленький
Дым над красной трубой.

Мы по палубе бегали —
Целовались с тобой.

Пахнет палуба клевером,
Хорошо, как в лесу.
И бумажка приклеена
У тебя на носу.

Ах ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай,
Ты печаль мою, палуба,
Расколи о причал.

В творческих биографиях Шпаликова и Гулая было общим то, что начиналась каждая из них с кульминационной точки. За плечами Инны была уже ее звездная роль. Правда, утверждать это можно с высоты наших сегодняшних знаний о ее пути в кино. Тогда никто и сама Инна этого предвидеть не могли. Была молодость, было будущее, а с ними — надежда на новые успехи.

Слава Геннадия Шпаликова была подобна падающей звезде. В двадцать четыре года он уже написал сценарии «Заставы Ильича», «Я шагаю по Москве», по которым защитил диплом во ВГИКе. По его сценариям ставились фильмы «Ты и я», «Я родом из детства», «Пой песню, поэт». Он работал с замечательными режиссерами: Марленом Хуциевым, Георгием Данелия, Ларисой Шепитько, Виктором Туровым, Сергеем Урусевским (высшего класса оператором)… Шпаликова печатали. Он был самый молодой, знаменитый сценарист, о нем выходили статьи в газетах и журналах, кто-то собирался писать о нем книгу.

Все считали, что ему очень везет в жизни, и внешне так оно и выглядело. Да, он знал, что такое успех, познал счастье. Но везунчиком себя не ощущал. О недовольстве собой, неудовлетворенности своим творчеством предпочитал, однако, не говорить. «Это никому не нужно, — читаем в его дневнике, — и не стоит преувеличивать свое место на земле — место любого из нас». В стихотворении, посвященном Андрону Кончаловскому, он писал:

Попытка выразить себя —
Труднейшая из всех попыток.

И еще:

Не верю легкости труда,
Обманчива такая легкость.

«Гена любил время, и время любило его. Правда, недолго. Но это время, шестидесятые, очень его любило. Это был такой счастливый кусок жизни — потом его жизнь разлюбила, к сожалению. Время тоже менялось, оно все больше и больше наливалось ртутью, железом, все дальше отходило от времен оттепели, особенно к концу его жизни. Он весело жил.

И тогда, в шестидесятых, был абсолютно уверен в своем счастливом пути, в счастливом бесконечном пути. Он был уверен в своей власти над жизнью, над будущим», — говорил Павел Финн в телепередаче «Людей теряют только раз».

В фильмах, сделанных по его сценариям, быт увиден глазами поэта. В них главное — одухотворенность самых простых вещей. В них, по определению Н. Клеймана, будни, которые ждут чуда. Ощущение чуда, которое должно случиться, было жизненной философией Шпаликова.

Было бы ошибкой идеализировать шестидесятые годы, излишне романтизировать их. Это было время, которое проверяло на крепость. И это испытание Шпаликов выдержал.

Но наступило другое время, и его чутко отразил кинематограф. На первый план выдвигалась социальность. Достаточно упомянуть по-своему рубежный фильм «Маленькая Вера». Приземленный быт, совсем другая молодежь…

А Шпаликов остался художником шестидесятых, олицетворяя их свет, противостоя семидесятым, восьмидесятым…

«На знаменитом ристалище, — рассказывает кинорежиссер Сергей Соловьев, — Никита Сергеевич Хрущев отчитывал всю советскую интеллигенцию, говорил, как ей жить, вообще — кто хороший, кто плохой… Вся интеллигенция сидела, в ужасе дрожала. Гена сидел, слегка выпивши, и как бы с огромным внутренним пониманием наблюдал все это дело с весельем. И наконец-то стало Хрущева раздражать: сидит сияющий какой-то, как пятак, человек и с каким-то диким удовольствием наблюдает всю эту фигню собачью, которая называется каким-то там съездом. И Хрущев спрашивает: „Вы кто?“ А тот отвечает: я, мол, Шпаликов, который написал „Заставу Ильича“. „Вот, чем сидеть и улыбаться, вышли бы и объяснили бы, как вы докатились до такого маразма человеческого, чтобы написать „Заставу Ильича““. Гена вышел и сказал: „Знаете, мне не хочется ничего рассказывать про маразм, как я докатился, как я скатился… Я хочу попросить вас, Никита Сергеевич, и сидящих в зале, будьте добры,

поаплодируйте мне, пожалуйста, и поздравьте: у меня дочка родилась, Даша, а вы сидите тут и занимаетесь черт знает чем“.

Вот такую речь сказал. И с ужасом весь зал увидел, как Никита Сергеевич и все стали аплодировать.

На следующий день Шпаликову позвонили рано утром и вызвали в ЦК.

По дороге туда он готовился к самому худшему. А вместо этого секретарь каких-то очень важных дел передал ему вопрос Хрущева, который интересовался его нуждами и чем он может ему помочь. Шпаликов ответил, что ему негде жить.

Помощь генсека не заставила себя ждать, и совсем скоро молодая семья переехала в новую квартиру в Черемушках». Это был поистине царский подарок — трехкомнатная квартира.

С рождением ребенка Инна вынуждена была уйти со второго курса Щукинского театрального училища и посвятить себя семье. Она была заботливой матерью и женой.

«Впервые я пришла к ним летом, — рассказывает Валентина Малявина, — и полюбила их дом. Мне нравилось, как Инна устроила новую квартиру. Всегда в доме был букет цветов. Дашенькина комната была полна игрушек. Гена говорил об Инне с восхищением:

— У нее все красиво получается!»

Кино, однако, Инна не бросала — она была в то время востребованной актрисой. В заботах о дочке помогала ей мама Людмила Константиновна.

Шпаликов по-прежнему много работал. Его творческими идеями были завалены киностудии страны.

Ю.Файт рассказывает смешную историю, приключившуюся с Инной, когда она пробовалась у М. Козинцева на роль Офелии.

«Как-то вечером, часов в девять, мне неожиданно позвонил Гена с вопросом:

— У тебя есть „Гамлет“ в переводе Пастернака?

— Нет, у меня только Лозинского перевод. А что так вдруг?

— Инка идет пробоваться на Офелию, а она „Гамлета“ не читала.

— Тогда какая разница, в чьем он переводе, хоть сюжет будет знать.

…Приезжают они утром в Ленинград, и тут же начинается репетиция. Стали они со Смоктуновским какую-то сцену разминать — просто вцепились друг в друга. Замечательно, все идет хорошо… Появляется Козинцев. Ему тоже все безумно нравится. Эту сценку сыграли, другую… Потом он говорит: „А теперь, Инночка, вы вот эту веточку положите себе на голову“. А она: „Зачем это на голову я буду ветку класть? С ума я, что ли,

сошла?“

Ну, все! Козинцев удрал в свой кабинет и кричал, чтобы он больше не видел эту сумасшедшую, которая „Гамлета“ не читала.

Вот такая история. А могла бы сыграть, и, думаю, что это было бы замечательно».

Абсолютно согласна с Юлием Файтом: это была точно Иннина роль. Анастасия Вертинская хорошо сыграла Офелию. Но с ы г р а л а. У Гулая же была некая сумасшедшинка. Не говорю уж о хрупкой женственности и умении передавать тончайшие движения души.

Фильмы по сценариям Шпаликова продолжали выходить на экраны, но успеха, подобного картине «Я шагаю по Москве», они не имели. Иные же сценарии просто отклонялись. И, думается, по причине, не касающейся их литературного качества.

Квартиру-то ему дали, но про его резкое выступление на встрече руководителей партии с деятелями кино не забыли. А тут еще он помог находившемуся в опале Виктору Некрасову: того перестали печатать, и он бедствовал. Некрасов был другом Шпаликова. Шпаликов написал заявку на сценарий в Киевскую киностудию, заключил договор, получил аванс и все деньги отдал Некрасову. А поскольку за тем была установлена слежка, органы тут же узнали об этом. Киностудия договор со Шпаликовым расторгла и потребовала вернуть деньги.

Это была проблема. Но духом он не падал. Ему вообще это не было свойственно, а сейчас тем более он был влюблен в свою жену, обожал маленькую дочку Дашу, учился жить в семье (для него, человека бродяжного склада, выше всего чтущего узы товарищества, — дело нелегкое).

Но влюбленный не заглядывает в будущее, он грезит и верит, что все будет хорошо, главное — быть вместе.

Жить в браке по большой любви психологически очень трудно. Любовь не поддается рациональному подходу. Никто, даже тот, кто любил и любит, не может дать ей определения.

Это все равно, что собрать облако в чашку, описать аромат, не прибегая к сравнениям, или музыку, не воспроизведя мелодию. То ли это вершина человеческого духа, то ли окультуренный половой инстинкт, то ли болезнь, то ли неуправляемая химическая реакция… Наверное, все вместе. И это то, что чаще несет с собой страдание, а не радость.

«Некоторое взаимное охлаждение, успокоение, уменьшение страсти в браке, — пишет Михаил Веллер в книге „О любви“, — это просто-таки защитная реакция организма. Во-первых, он не может долго и сколько-то нормально функционировать в состоянии любовного аффекта. Во-вторых, сколько-то долгий и

прочный брак с воспитанием детей и т. п. также невозможен на перегретом котле воспаленной страсти…

Размолвка, скандал — это малый предохранительный клапан для сброса излишка энергии (страсти)».

С излишком страсти Шпаликовы справились при помощи того самого «клапана». Но вот с безденежьем справиться было труднее. Работы, а значит средств к существованию, не было. Зарплаты, которую Инна получала в Театре-студии киноактера, едва хватало на самое необходимое.

Александр Митта рассказывает историю, над которой можно бы и посмеяться, будь это розыгрыш, шутка от избытка хорошего настроения. А так она вызывает лишь грустную улыбку.

«У меня были нежные отношения с Геной, я был прямо-таки в него влюблен. Я зарабатывал деньги, рисуя карикатуры, разносил их по редакциям, их печатали. В месяц получалось штук семнадцать. Деньги клал в два кармана: в один — для жизни, а из другого кармана можно было брать по мере надобности — мне и моим друзьям. Гена тоже брал. А потом я стал снимать кино, и денег стало резко меньше. У меня появилась семья, родился сын. Жена говорит: „Слушай, у меня нет денег, пора уже Гену попросить отдать долг“. Я позвонил Гене. Немного спустя он ко мне приходит и дает конверт. Мы попили кофе, и он ушел. Жена при нем не стала открывать конверт, а когда открыла, вместо денег обнаружила листок со стихотворением:

ДОЛГИ

Живу веселым, то печальным
В квартале экспериментальном.
Горжусь я тем, что наши власти
На мне испытывают пластик.

А больше мне гордиться нечем,
Да я ничем и не горжусь, —
Ем по утрам с картошкой лечо,
Воспоминаю и тружусь.

Труды приносят мне долги,
Отдохновенья не приносят.
Долги построились в полки,
Приказа ждут и крови просят.

Я к ним покорно выхожу
И руки кверху поднимаю,

Я их прекрасно понимаю,
Но выхода не нахожу.

Я говорю им — до утра,
Ну что вам стоит, подождите,
А утром я скажу — простите,
Я вас обманывал вчера.

Ну как было на него сердиться?»

…Мне невольно пришли на память стихи Николая Рубцова, неприкаянного, безденежного, которые были в ходу у вечно бедствующих молодых писателей. Называлось стихотворение почему-то «Элегия»:

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слыхать…
В коммунизм — таинственный зенит —
Полетели мысли отдыхать.

Черная полоса в жизни Шпаликова затянулась. «Я в это время был в их доме раза два, — вспоминает Павел Финн. — Однажды собралась очень большая компания. Под утро, уже на рассвете, Некрасов вдруг сказал: „Поехали к Шпаликову!“ И мы: Давид Маркиш, Виктор Платонович и я взяли машину и поехали к Шпаликову. Он жил в Черемушках. Было полшестого утра. Мы позвонили Гене, потому что точно не знали, где он живет, и попросили встретить нас. И вот на абсолютно пустой июньской улице мы вышли из машины. Навстречу нам шел Шпаликов в тренировочном костюме, в одной руке у него была бутылка, а на ладони другой лежал большой вареный рак: он шел нас опохмелять. Этот день я провел в его доме. У меня осталось тяжелое впечатление от этого, по всему ощущался их разлад».

… Но наступала светлая полоса, а с ней весна чувств, и Шпаликов писал лирические стихи.

СНЕГ В АПРЕЛЕ

И я вступаю, как во сне,
в летящий на закате снег.
Уже весна. Летит прощально
над миром света пелена.
Любимая удивлена,
по телефону сообщая,

что выпал снег.

Как описать его паденье,
замедленный его полет?
Да, снег идет не в наступленье,
он отступает, но идет.

Летит он тихий, ненахальный,
иной у снега цели нет —
чтобы рукою помахали
ему, летящему, вослед.

…Я помню тот снежный апрель в жизни и даже число — 17-е. Задняя калитка нашего сада выходила в Измайловский парк. Мы ахнули, выглянув утром в окно, за ночь снег покрыл землю ровным слоем и продолжал идти. Через несколько минут мы были уже на лыжне. Я лыжник никакой, а мой муж Юрий Полухин побеждал на университетских соревнованиях по лыжным гонкам. Он убегал далеко и возвращался с ликующим воплем: «Люблю зиму в начале мая!» — «Мороз и солнце, день чудесный!» — откликалась я.

Мороза не было, солнца вроде бы тоже, но ощущение зимней свежести и тревожащих запахов весны создавало какое-то неизъяснимое настроение — радостное и щемяще-грустное одновременно. Стихи Шпаликова вернули мне атмосферу того неповторимого дня. Вернули меня в юность.

Шпаликову вообще свойственно это редкое умение — возвращать атмосферу и настроение пережитого, волшебным образом пробуждать в читателе, зрителе остроту зрения, слуха, обоняния, поэтическое воображение.

Повесть о несостоявшейся любви

В 1965 году Шпаликову позволили поставить фильм по собственному сценарию. Назывался он «Долгая счастливая жизнь». На главную женскую роль в нем была утверждена Инна Гулая. Главную мужскую роль играл Кирилл Лавров.

Это была картина с заложенной уже в названии иронией, светлой и печальной, грустная, местами жестокая повесть о несостоявшейся любви.

Про себя Шпаликов в сценариях писал редко. Трудно разглядеть его в каком-нибудь одном из героев фильмов «Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве» — возможно, каждого из них он наделил частичкой себя. О глубоко личном он писал в дневнике, рассказах, стихотворениях, отчасти в неоконченном романе.

«Долгая счастливая жизнь» отличается от других кинопроизведений Шпаликова тем, что в этой картине, рассказывающей о том, как два человека, жаждущие любви, оказываются неспособными к ней (если быть точным, герой испугался своего чувства), угадывается драма самого Шпаликова.

Геолог Виктор и молодая работница Лена, живущая в небольшом городке, встретились случайно, но каждый из них увидел в другом свою судьбу.

«Мне кого-нибудь не надо — я тебя нашел, — говорит Виктор Лене. — Все мы, в конце концов, ищем человека, женщину, это очень серьезно и очень важно. И в общем редко кому удается. Но я знал, что я найду человека, найду женщину, с которой можно пройти всю жизнь».

А Лена делится с близким ей человеком, бабушкой, своей мечтой: «Я хочу ему и себе счастья. Долгого счастья. Меньшего мне не надо… А не слишком ли многого я хочу? Нет! В самый раз».

Но герои расстаются, едва успев хоть чуть-чуть узнать друг друга. Долгая счастливая жизнь оказалась для них миражом.

В фильме нет строгого сюжета, четкого рисунка характеров. Здесь важна смена состояний героев. Здесь душа переговаривается с душой, отношения между героями строятся на сердечных влечениях и отталкиваниях. Виктор и Лена рассказывают друг другу о себе, но рассказ Виктора полон недомолвок, и его жизнь, и что он за человек, так и остается тайной для Лены…

По выходе фильма на экраны появились рецензии, большей частью оценивающие его критически.

Критикам пришлась не по вкусу прежде всего неопределенность героя — то ли он провинциальный Дон Жуан, то ли влюбчивый юноша, то ли «вечный жених», присматривающий себе спутницу жизни и боящийся продешевить… Да и образ героини нечетко прописан…

Рецензенты напрочь не восприняли стилистику фильма. Хорошо еще, что они не заметили несоответствия содержания фильма его названию, ведь, по сути, ни о какой долгой и счастливой жизни в нем речи не идет.

Шпаликову не важна была строгая обусловленность характеров героев, четкая мотивация их поведения. Вряд ли он и на этот раз мог ответить на вопрос, о чем фильм «Долгая счастливая жизнь». Потому что он, как и всё у Шпаликова, обращен в глубины человеческого духа. Фильм — о людях, сложных отношениях между ними, о ликах любви, о неисповедимых прихотях души, говоря словами поэта. И надо настроиться на волну фильма, чтобы понять его.

Тем, кто настроился на эту волну, фильм понравился.

В чем все были единодушны — это в высокой оценке игры Инны Гулая.

— Инна там гениальная! — восхищался Шпаликов.

Он возлагал на фильм большие надежды. Но «Долгую счастливую жизнь» зритель не принял.

Армен Медведев был свидетелем, как Шпаликова буквально убила реакция на фильм просвещенной публики в ленинградском Доме кино.

«Я видел, что он выпил и сидел жутко расстроенный, — пишет А.Медведев в своей книге „Территория кино“. — Зал проголосовал ногами против его фильма „Долгая счастливая жизнь“. А для меня эта картина связана с его лирикой. Блистательная картина, совершенно обойденная вниманием, никак не реабилитированная: формально вроде бы она вышла в прокат и просто не понравилась творческой общественности. А это было новое кино, которое принес на экран Геннадий».

Непризнанная в родной стране, «Долгая счастливая жизнь» была замечена мировым кинематографом и удостоена премии на международном фестивале авторского кино в Бергамо.

В начале семейной жизни обоих — и Геннадия, и Инну — раздражала постоянная занятость: она мешала им всегда быть вместе. Шпаликов, к тому же, ревновал жену ко всем и ко всему, в том числе к ее успеху, даже запрещал сниматься в фильмах. Инна была с характером и не желала подчиняться запретам. На этой почве возникали размолвки.

Теперь о постоянной занятости можно было забыть. Фильмом

«Долгая счастливая жизнь» они фактически попрощались с кино.

Для супругов наступило затишье. Инна пополнила ряды невостребованных актрис. За десять лет она снялась всего лишь в нескольких эпизодических ролях.

Шпаликов работал много, но все его сценарии, за исключением трех-четырех, отклонялись. Хронически не хватало денег.

Существует заблуждение, что режиссеры, сценаристы, киноактеры, а также писатели и художники — очень богатые люди (имею в виду время, о котором пишу). Тех, кто так думает, гипнотизирует размер гонорара, который человек свободной профессии получает по завершении работы.

Богато жила очень небольшая часть творческой интеллигенции: известные деятели искусства и литературы, имеющие почетные звания, отмеченные премиями и высокими государственными наградами, обласканные власть имущими, пользующиеся особыми льготами и привилегиями.

Вся остальная творческая интеллигенция жила очень скромно. А те пресловутые нули в их гонорарах украшали бы зарплату любого человека, получай он ее раз в год-полтора.

Гонорары за фильмы расходились быстро — на раздачу долгов, на жизнь до следующего фильма. Надо было, к тому же, дать в долг коллеге, который находится в простое, что-то отложить на отдых… А там опять идти на поклон к киноначальству, чтобы дать заявку на новый договор. Но удастся ли его заключить — большой вопрос.

В письме С. А. Милькиной-Швейцер, жене и бессменному помощнику кинорежиссера М. Швейцера, Шпаликов напишет:

«Долги входят в нашу замечательную профессию — тут ничего не придумаешь, а долги отдавать, конечно, надо. Но, Соня, не умею я зарабатывать. Работать умею. Все-таки в 35 лет столько наработать может очень выносливый человек… Но все-таки есть предел работоспособности в условиях полной неработоспособности, т. е. все шло к тому, чтоб я ничего не делал, а я работал и работаю. Но, честно говоря, так дальше не получится. Что делать? Жалко мне и Инку, и Дашу, и вообще всех, кроме себя».

Если говорить о славе, то сценаристу (актеры — особая статья), даже при успехе фильма, ее достается меньше всех. Мы знаем режиссеров известных фильмов, а вот авторов сценария назвать можем не всегда. Юрий Нагибин написал сценарий нескольких замечательных фильмов, в том числе «Председателя». За исполнение в нем главной роли Егора Трубникова Михаил Ульянов вполне заслуженно получил Ленинскую премию. А

сценарист, совершенно незаслуженно, — увесистую критику, а ни о какой награде, естественно, и речи не было.

Геннадий Шпаликов в общем-то был равнодушен к внешнему проявлению славы. На весах его моральных ценностей творчество всегда перевешивало материальные блага. Он был известен прежде всего как незаурядный сценарист. Но немногие при его жизни знали о том, что он увлекался поэзией и сам писал стихи. Некоторые из них стали песнями и звучат в кинофильмах. «Палуба» — в «Коллегах», «Бывает все на свете хорошо» — в «Я шагаю по Москве». В «Военно-полевом романе» положено на музыку стихотворение «Городок провинциальный». В «Рабочем поселке» Петр Тодоровский поет песню Шпаликова «Спой ты мне про войну».

«Поэтическое творчество Г. Шпаликова, — писал в своей рецензии „Многогранный талант“ критик Евгений Потупов, — разумеется, ни в коей мере нельзя считать неким приложением к кинофильмам или собственным сценариям. Всякий, кто познакомится с такими стихами Шпаликова, как „Поэтам следует печаль…“, „Дочери“, „Под ветром сосны хорошо шумят…“, „Не принимай во мне участья…“, „Хоронят писателей мертвых…“, „Я к вам травою прорасту…“, убедится, сколь своеобразным и неповторимым был его лирический голос».

Но все-таки прежде всего Шпаликов был сценаристом, и то, что его сценарии отклонялись, он переживал как большую трагедию. Причиной ее был не только его разлад с властью (не идейный, а из-за его пьянства), а общий ход событий, от него не зависящий.

В годы творческого взлета Шпаликова кинематограф был на подъеме, были высокие профессионалы своего дела. Были замечательные люди, замечательные отношения — так вспоминает Марлен Хуциев о шестидесятых. Сидели на кухнях до рассвета, читали стихи, пили вино… Потом всех как-то разбросало, видеться стали редко. Горько было следить, как менялся Шпаликов. Как менялось его лицо, редели волосы. Как стал он выпивать больше, чем хотелось бы. И отношение к нему изменилось. На похоронах М.Ромма он хотел выступить — ему не дали слова.

Становилась другой и Инна Гулая, что не могло не отразиться на ее актерской судьбе. Сначала была звездность, востребованность, а потом все это постепенно сошло на нет. На кинопробы ее, правда, еще приглашали, но чаще всего этим дело и ограничивалось.

Наталья Фокина пишет в своей книге:

«Еще во время съемок „Когда деревья были большими“ Лева

(Лев Кулиджанов. — *Л.П.)* с Колей Фигуровским, предаваясь мечтам об экранизации „Преступления и наказания“, предполагали, что Соню Мармеладову может играть Инна Гулая. И если бы Лева начал снимать „Преступление и наказание“ немедленно, после окончания „Когда деревья были большими“, то лучшей исполнительницы роли Сони Мармеладовой и представить себе было бы невозможно. Но с тех пор прошло уже довольно много времени — шесть лет. Когда Инну пригласили на фотопробу, Полина Познанская, второй режиссер, сразу же сказала, что выглядит она так, что рядом с Георгием Тараторкиным (утвержденным на роль Раскольникова. — *Л.П.)* можно принять ее за его мать. Может быть, это было и сильно сказано, но, во всяком случае, с Георгием Тараторкиным ее объединять было нельзя. Наверное, для Инны это был большой удар. После фотопроб ее уже не приглашали».

К чести Шпаликова надо сказать, что, даже когда его стали преследовать неудачи, он не завидовал своим более успешным коллегам, а искренне радовался их творческим победам.

Посмотрев фильм Киры Муратовой «Долгие проводы», он тотчас садится за письмо.

> «Дорогая Кира, только что я видел твою картину в Болшеве, и пишу сразу, чтоб слова уважения и гордости за эту прекрасную работу были первыми словами.
>
> Я плакал, смеялся, грустил, немел, обалдевал, веселился, — это прекрасная работа во всех отношениях, я даже не хочу говорить, — в каких, — это настоящее дело, — ты видна во всем, — я узнавал все, что волнует тебя, тревожит, бесит, — узнавал тебя, — это, а уж как это знаю! — жутко трудно, беззащитно получается в каких-то богом избранных случаях.
>
> Конечно, я рад за Наташу (Рязанцеву — автора сценария фильма. — *Л.П.),* за всех нас, за Шарко (актриса БДТ. — *Л.П.),* за идею вам работать вместе. Ах, Кира, господи, — это все огромная твоя победа, — мне все в этой картине нравится, даже то, что и не должно б нравиться, но я понимаю, что такая работа, — она не из частностей, из общего, из необъяснимостей и волшебства… Кира, Кира, какая ты умница, и как хорошо, счастливо, разумно, благородно ты живешь.
>
> Там, — сразу после просмотра, все чего-то громко говорили, какие-то разные — общие слова, полуслова, — бред. Я ушел…
>
> Вот так, милая, дорогая, прекрасная Кира

Муратова, — замечательный художник, мастер, — и никого не слушай, — совет общий, но верный: никого.

Обнимаю тебя, поздравляю, заклинаю беречь себя, не печалиться, — вести разгульный образ жизни и на все глядеть весело! А остальное, — наплевать. Остальное — все при тебе, умница!

Гена».

Шпаликов радовался за своих друзей, а самому ему жизнь все меньше и меньше приносила радости.

«Я всегда думаю, что все еще будет. Ничего не будет, это неправда. Где оно, мое большое спокойствие к малым делам, — пишет он в дневнике, — равнодушное и веселое выражение лица? Его нет… Меня пугает равнодушие времени и чужие люди, чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться и не с кем быть. Велика Россия, а позвонить некому. Я понимаю, что это заблуждение, но совершенно искреннее. Я не знаю, зачем жить дальше».

В трудные моменты жизни человек находит опору прежде всего в семье, в своих любимых и близких. Стены родного дома защищают его от бед и жизненных бурь. Недаром говорят: счастлив тот, кто счастлив в семье.

Виктор, герой фильма «Долгая счастливая жизнь», говорит, как бы озвучивая мысли Шпаликова, что это серьезно и очень важно найти человека, с которым можно пройти всю жизнь, и что он такого человека нашел — Лену.

Это — в кино. А в дневнике Шпаликов пишет:

«Бездомные завидуют тем, у кого есть дом, а те завидуют бездомным, потому что им кажется, что проще и веселее не иметь никакого дома, никаких обязанностей ни перед кем, а я не знаю, кому я завидую. Я не завидую простому счастью — идиотская мысль: как будто есть еще и сложное счастье, но мне было тепло сидеть несколько вечеров в счастливом, простом доме, который, наверное, не такой уж безупречно счастливый, но все-таки больше, чем другие, больше, чем мы, — мы ничего не сделали, чтобы жить вместе, держась друг друга… Так не получается, не выходит почти ни у кого.

…Я уже как-то думал, стоя 1 января в отвратительном состоянии рано утром на платформе Яуза, что, может быть, мы зря ищем кого-нибудь, чтобы все время быть рядом, может быть, следует на это плюнуть, потому что жизнь опровергает все самые лучшие душевные союзы, а еще чаще они сами распадаются…»

«Вздохом в чистое поле я себя отпущу…»

Давняя подруга Инны, актриса Елена Королева, была убеждена, что встреча этих двух людей, Шпаликова и Гулая, таких необыкновенных, была роковой для них обоих, и прежде всего для Инны. Объединились два непростых человека, абсолютно не приспособленных к семейной жизни. Родилась дочь, что еще больше усложнило их жизнь. Королева рассказывает, что ей подарили фотографию, на которой они были с маленькой Дашей, и у Даши были такие глаза, как будто она предвидела наперед всю трагедию, которая случится с этой семьей.

А вначале было счастье, ведь поженились они по большой любви. Но не бывает счастья на всю жизнь, счастье — вещь переменчивая, оно тоже «склонно к измене».

По стихам и дневниковым записям Шпаликова можно судить, каким искренним, неизменно честным перед собой и временем он был. И он не мог не признаться себе, что брак с Инной Гулая с некоторых пор стал тяготить его.

Он любил Инну. Но то была любовь поэта. А поэт больше, чем женщину, любит свое чувство к ней — оно питает его творчество.

«Я думаю, что Гена, когда влюблялся, — говорит Юлий Файт, — он не конкретно в эту женщину влюблялся, а любил это состояние, это в себе качество, эту жизнь в себе. Он не пошел бы ни за кем, если бы ему надо было чем-то пожертвовать в себе, своим образом жизни, своей поэзией, писательством».

То неповторимое чувство, которое они с женой испытывали, когда познакомились и когда у них родилась дочь, превратилось в какой-то социальный институт под названием семья. Семейные ценности никогда не стояли у Шпаликова на первом месте. Он никогда не заботился о завтрашнем дне, о доме, о комфорте. А, обретя семью, он должен был думать об этом. Поэтому Шпаликов тяжело переживал свою семейную жизнь.

И семье трудно было с ним. При всей своей коммуникабельности и вроде бы веселом нраве он был сложным человеком. Тяжким бременем ложился на нее и большой артистический талант Инны Гулая. Назревала драма.

Шпаликов мечется. Он едет в Ленинград с целью уговорить мужа Рязанцевой Илью Авербаха вернуть ему Наташу…

Много позже, в 2000 году, в интервью «Новой газете» Рязанцева расскажет об этом его приезде.

«…Я лишь недавно в однотомнике прочла киноповесть („Долгая счастливая жизнь“. — *Л.П.)* — раньше видела только фильм, и нашла там один диалог, в котором он для себя

объясняет наши отношения. Он говорил мне подобные вещи. Там, где главный герой в театре встречает несчастливо влюбленного, и тот говорит: я знаю, что с девушками надо врать и притворяться. Но вот я ее вижу и все говорю как есть, хоть и понимаю, что так нельзя. Он (Шпаликов. — *Л.П.)* действительно говорил все как есть, даже когда понимал, что ничего уже нельзя изменить и все давно не ко времени. Он приезжал в Ленинград, уже к нам с Ильей, звал по имени и на „ты“ мою свекровь (вообще очень любил стариков, замечательно ладил с ними), а после прислал Илье письмо, чтобы он меня отдал. Вернул. То есть он прекрасно уже понимал, что этого быть не может и что ему самому это, может быть, не нужно. Но был момент, когда ему показалось, что нужно, и он тут же об этом сказал. Дело, однако, было никак не во мне, и даже не в душевной болезни Инны Гулая, а в собственно его трагедии, в беззащитности, в нежелании и неумении выживать, выстаивать, терпеть…»

В конце концов, Шпаликов смирился с тем, что Наташу ему не вернуть.

Все неслышней и все бестолковей
Дни мои потянулись теперь.
Успокойся, а я-то спокоен,
Не пристану к тебе, как репей.

Не по мне эта мертвая хватка,
Интересно, а что же по мне?
Что, московская ленинградка,
Посоветуешь поумней?

Забываю тебя, забываю,
Неохота тебя забывать,
И окно к тебе забиваю,
А не надо бы забивать.

«Московская ленинградка», конечно же, Наталия Рязанцева.

Это нередко в жизни случается, когда первый брак накладывает печать на всю жизнь. В нем как бы задействованы все «датчики»: незамутненность чувств, интуиция, новизна ощущений, а тут еще общее дело, общие интересы… Неосознанно (а может, и сознательно) человек ожидает подобного и от другого брака. Но этого не случается, особенно если оба ослеплены страстью, сначала их лишает покоя переизбыток чувств, ревность. А когда страсть проходит, они изводят друг друга упреками, придирками, претензиями.

Однако эту попытку вернуть прошлое, вернуть Наташу, нельзя назвать поступком здравомыслящего (не говорю уж трезвомыслящего) человека. Рязанцева ушла от Шпаликова, прежде всего, из-за его пьянства и вытекающих отсюда последствий. Но что изменилось после их расхода? Да ничего! Он сам признается:

Да, дошел до ручки,
Да, теперь хана.
День после получки,
Денег — ни хрена.

Что сегодня? Пятница?
Или же четверг?
Пьяница, ты пьяница,
Пропащий человек.

Он недоволен собой, сокрушается, но ничего не делает, чтобы покончить со своим пагубным пристрастием, теперь уже болезнью. Он падает в бездну, увлекая за собой не «до обидного здоровую», в отличие от Наташи, Инну.

Друзья, любя Шпаликова, были снисходительны к его поведению — сами не без греха! — и в подробности не углублялись. Но рассказ Валентины Малявиной об одном из ее визитов к Шпаликовым, с отмеченными женским взглядом деталями их семейной жизни, — впечатляет.

Она столкнулась с Инной у подъезда, та торопилась в магазин за водкой.

В квартире были Виктор Некрасов и Гена. Виктор Некрасов лежал в комнате на полу. Гена сидел на кухне, положив голову на стол. На плите варился грибной суп, день был жарким. Водка теплая. Все вокруг как бы плавилось.

«Впервые в этот день, — цитирую книгу Малявиной, — я увидела и услышала ссору между Инной и Геной. Она началась вдруг ни с того, ни с сего. Я знала, что они любили друг друга, но жаркий день и крепкий теплый напиток взвинтил их. Они были несправедливы друг к другу.

Виктор Некрасов грустно сказал:

— Пора уползать… — И ушел.

Я тоже хотела уйти, но Инна не отпустила. Инна сказала повелительно мне:

— Пошли!

Мы двинулись к выходу. Гена крикнул вслед:

— Родина! Когда ты вернешься? Принеси, пожалуйста…

Он имел в виду, конечно, бутылку…

Инна пригласила меня в ресторан. Инна заказала водку, селедку, картошку, холодного пива».

Надо самозабвенно любить человека, чтобы продолжать жить с ним в таких условиях.

Слава, говорил Александр Твардовский, тяжкое испытание, не у всех темечко выдерживает. Что же касается Шпаликова, то причиной его приверженности к пьянству была не только слава, которой он был избалован смолоду, не думая, что порой это «розы в кредит». Время, когда по его сценариям ставились картины, было, повторюсь, кульминацией его судьбы в кинематографе. А дальше начался его расход с властью. Начальство не любит, когда много пьют, хотя и терпят в иных случаях. Но эта слабость Шпаликова была поводом для того, чтобы все больше и больше с ним расходиться.

Те годы нельзя излишне идеализировать и романтизировать, говорили сами шестидесятники. Это было тяжелое время. Неоднозначное, множественное время. Время надежд и их крушения. И люди проявляли себя по-разному. Одни — шли на компромиссы. Другие, наоборот, становились жестче, циничнее. Многие пили. «Но эти пиры во время чумы, — говорил Павел Финн, — во многом спасали нас от того, что мы этой чумой не заболели и не стали теми, кем стали иные из нашего поколения. Так что пьянство было необходимым сопровождением нашей жизни, как бы аккомпанементом ее. Другое дело, что Россия такая страна и такой воздух здесь, что очень легко спиться».

Один поэт сказал: «Пьет дух». Я вспомнила эти слова, когда читала вот это место из шпаликовского дневника:

«…Кругом была весна и воскресенье, и солнце, которое бывает к вечеру, не сильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылка водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду пить с товарищем в пустой чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок».

Человек, не способный жить на «ограничителе», Шпаликов не укладывался в общепринятые рамки, не задумывался о грозящей ему опасности. И сидел, сидел в нем некий ген самосожжения!

«Творец — человек с повышенной нервной энергетикой, он работает на сильнейшем перевозбуждении. Это у него в подкорке, — пишет М.Веллер. — Есть какая-то связь с уровнем таланта, энергетикой человека, его темпераментом. И еще неизвестно, к пользе ли приведет укрощение такой натуры,

„подгонка“ ее под общепринятые нормы, исправление пороков — с самыми, разумеется, похвальными намерениями».

Расскажу одну историю.

После окончания факультета журналистики МГУ я была распределена в сверхсекретное КБ. Там работали высочайшего уровни специалисты. Достаточно сказать, что среди них было человек пять лауреатов Ленинской премии. И в одно со мной время появился в КБ недавний выпускник МГУ, совсем молодой человек, но уже всеми признанный гений в области математики: он решил уравнение, над которым десятилетия бились великие умы. Говорили, что практически для него по его специфике неразрешимых задач не существует.

Но человек этот сильно пил. Я помню его сидящим в скверике предприятия в любое время дня, нетрезвого, полудремлющего или выводящего прутиком какие-то фигуры на земле. Замечание ему по поводу нарушения рабочей дисциплины никто не делал — отношение к нему было особое.

И вот решили его излечить от алкоголизма — ради него самого, ради семьи и ради работы: предприятие было режимным, а на пьющего человека положиться можно не всегда.

И его вылечили!

…Миру явился трезвомыслящий человек. Но исчез гений математики. Во всяком случае, в секретных материалах ОВ (Особой важности), которые я редактировала, его имени я больше не встречала.

Медики нам объяснили, что от тяги к алкоголю можно избавиться, только усилием воли самого человека, медикаментозное лечение чревато необратимым изменением личности.

Не буду углубляться в тему, замечу лишь, что Шпаликов, насколько я знаю, и не пытался бросить пить. Дурную службу сослужило ему то, что он мог писать пьяным. Дурную потому, что он стал пить беспрерывно. «Говорить о каком-то его творческом кризисе — во всяком случае, как о причине его гибели — я бы не стала, — сказала в интервью „Новой газете“ Наталья Рязанцева. — Хотя бы потому, что „Прыг-скок, обвалился потолок“ или „Девочка Надя, чего тебе надо“ — лучшие его сценарии, на мой вкус, написаны в семидесятые годы, и именно в них ярче всего обозначена собственно шпаликовская коллизия, тема хороших, но невыносимых друг для друга людей».

На экране эти сценарии не были воплощены — «шпаликовская коллизия» повторилась в жизни сценариста.

Шпаликову было трудно в семье, и семье было трудно с ним.

В дареной хрущевской квартире он появлялся все реже и реже…

«Ух, как точно повторяем мы уже пройденные размышления, другими пройденные жизни, — пишет он в дневнике. — И это во всем: в тщеславии, которое не стоит таких усилий, ведь конечный результат всегда липа. В женщинах, женах, смене жен, в маленьких отчаяниях, в маленьких счастьях, товарищах — список этот бесконечен…»

Шпаликов уходит из дома.

Опять одиночество, скитания… Как ни странно, он будто жаждет этого. Именно это время станет плодотворным в его творчестве, особенно в поэтическом. Но таких солнечных и оптимистических стихотворений, как «Палуба» и «Я шагаю по Москве», он уже не напишет. Его умонастроение отражают совсем другие стихи:

Остается во фляге
Невеликий запас.
И осенние флаги
Зажжены не про нас.

Вольны — вольная воля,
Ни о чем не грущу.
Вздохом в чистое поле
Я себя отпущу.

Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.

Даже в стихотворении, посвященном маленькой Даше в день ее рождения 19 марта, — все та же печаль и тоска, ребенку вряд ли понятная.

Я помню, а ты и не вспомнишь
Тот мягкий, по марту, снежок,
И имя мое ты не вспомнишь,
И это уже хорошо.

Все то, что на свете осталось,
Я именем Даши зову.
Такая тоска или жалость —
Я вижу тоску наяву.

«У него был странный такой уличный распорядок дня, — рассказывает Сергей Соловьев. — Он выходил, доходил до какого-нибудь угла, где развешены были газеты и прочитывал все газеты, начиная от „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ и все, все, все — до самого конца. На это у него уходило часа два-полтора, и дальше в двойном размышлении шел от газет до ближайшего почтового отделения. Там он садился и согревался, а пока он согревался, к нему возвращалось теплое расположение к белому свету, к миру. И он брал телеграфный бланк и на его обратной стороне писал стихи».

Художник Борис Мессерер, муж Беллы Ахмадулиной, вспоминает, что Шпаликов носил с собой мешок со своими стихами. Вынимал их оттуда и читал ему. И он открывал для себя его образ, образ человека, напряженно существующего в своей поэзии.

С Инной Шпаликов изредка встречается, их даже видят в ресторане Дома кино. Но о том, чтобы быть опять вместе, вряд ли между ними заходила речь. Надо знать Шпаликова — вольному воля.

Иногда он мыслями возвращался к своей «шведской девушке». А может, не к ней, ведь имени он не называет. Но все-таки…

«У меня была гравюра, — пишет он в дневнике, — собственно, это не гравюра, а черно-белый рисунок, вырезанный мною из журнала „Цирк“. Там девочка с распущенными волосами и в шляпе, сдвинутой на затылок, идет по проволоке, но пусть вас не смутят слова „в шляпе, сдвинутой на затылок“, — здесь нет легкомыслия, никакой лихости, это прекрасная, легкая девочка в прозрачной юбке и в легкой шляпе, из-под которой ложатся на спину длинные прямые волосы.

Она висела у меня над столом, и я неизменно вспоминал о тебе, глядя на этот рисунок. Бывало так, что я приходил ночью и смотрел, как ты идешь по проволоке. Никого другого я не представлял на этом месте: ты идешь.

А теперь ты у меня пропала, я искал тебя все утро, а тебя нет. Пропала — и все тут. А может быть, тебя украли, хотя я точно помню, что ты просто упала вниз, когда я отколол от тебя кнопку и ты упала на стол, а после — бог знает куда — упала и пропала».

Эта запись — как стихи в прозе. И даже если они посвящены не Инне — образ ее возникает между строк.

Валентина Малявина рассказывает, как однажды он пришел в дом, где они жили с Павлом Арсеновым.

«Звонок в дверь. Пьяненький Гена как-то странно

придерживает полы пальто. Распахнул их, а там — великолепная икона. Очень старая. Он ставит ее в спальне на столик. Я спрашиваю Гену:

— А где Инна?

— Не знаю.

Стало понятно, что Гена с Инной в трудных отношениях. Гена грустно сказал:

— По-моему, это конец.

В этот вечер мы припозднились за интересным разговором. Павлик сказал тихонько:

— Ему некуда идти. Пусть останется у нас.

…Когда коньяк кончился, Гена поинтересовался:

— А который теперь час?

— Два.

— Он не спит.

— Кто?

— Габрилович. Я схожу к нему, возьму что-нибудь. Он мало пьет. У него всегда есть.

Дом, где жили писатели и драматурги, рядом, и Гена мигом обернулся. Как ни странно, принес полную бутылку „Наполеона“…

В середине дня Гена уехал. До этого визита Гена бывал у нас. Всегда один».

… В сущности, такая и должна быть судьба у поэта: неустроенность, несчастья, одиночество…

Михаил Веллер в книге «О любви», которую я уже упоминала, пишет: «Вся человеческая культура по большей части замешана на страдании. Среди художников редко-редко встретишь счастливого человека. Страдание будит душу… В страдании больше мощи, чем в счастье, оно в своем роде острее, богаче, сильнее счастья, оно в трагедии стремится к самому пределу человеческих возможностей; счастье переносимо почти всегда — жестокая пытка непереносима почти никогда».

Благородство страдания и даже его человеческая необходимость — в том, что оно есть внутренний стимул к многочувствованию, размышлению и свершениям действий, что и есть суть человека.

«Поэтам следует печаль», — эхом откликается Шпаликов.

Поэтам следует печаль,
А жизни следует разлука.
Меня погладит по плечам
Строка твоя рукою друга.

И одиночество войдет
Приемлемым, небезутешным,
Оно как бы полком потешным
Со мной по городу пройдет.

Но печаль эту он не нагнетает искусственно. В нем, принадлежащем к поколению детей войны, она в подкорке, в сердце била всегда, даже когда он сочинял и пел свои веселые песни. Он понимал и до глубины души переживал людские беды, несчастья. В незавершенном романе, размышляя о трудных человеческих судьбах и ранних смертях, он пишет: «Вот вам война, вот вам ее реальные последствия, вот вам наша голодуха, безотцовщина, безматеринство, случайность рождения от людей больных, пьяных — бог знает. Великая моя страна, великая, всеми проклятая, проданная тысячу раз, внутри и издали — великая, прости меня, рядового гражданина, я боюсь за тебя, обеспокоен».

Фрагменты этого незавершенного романа опубликовал в книге «Геннадий Шпаликов. Я жил как жил» (М., Издательский дом «Подкова». 1998) ее составитель Юлий Файт.

Написанный от первого лица, роман в большой мере автобиографичен. В то же время реальность соседствует в нем с фантасмагорией: герой-повествователь встречается в загробном мире с Ахматовой, Цветаевой, Есениным, Тютчевым и другими великими, не только поэтами. В романе много цитат отовсюду, ключевых фраз и слов, являющих собой как бы каркас его, который впоследствии должен «обрасти» текстом. Поскольку этого не произошло, трудно преодолеть эти торосы и уловить ход мысли автора. Но масштабность замысла ощущается.

Письма, дневниковые записи последних лет и вот этот роман Шпаликова — сплошь подведение итогов, а ведь ему еще долго было до сорока.

В письме Юлию Файту он пишет: «… 66 год для меня был уже концом прежних завоеваний, и вообще я бы мог прекрасно жить на прежних достижениях, — новая советская волна, и это на самом деле так. Дальше начался прорыв к не этому. Он шел не так уж и долго… Наверно — и наверняка — ведь и половины не вышло, не вышло — вовсе не благодаря СССР, а несовершенству собственному. Ничего запрещенного нет, есть собственное отношение — как и что. Я всегда это знал, и м.б., эти годы будут хорошие, но вне кино».

А немного позже, видимо, уже в другом настроении, напишет С.А.Милькиной-Швейцер: «Кроме работы и ощущения того, что

писать я стал лучше, веселее и просто расписался, наконец, вовсю, — нет у меня иных целей и желаний».

Пройдет какое-то время, и незадолго до своего ухода из жизни Шпаликов признается себе в дневнике:

«…Успел я мало. Думал иной раз хорошо, но думать — не исполнить. Я мог сделать больше, чем успел. Не в назидание и не в оправдание это пишу — пишу лишь, отмечая истину. У меня не было настоящего честолюбия… У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков. Пишу об этом совершенно всерьез, потому что твердо знаю, что при определенных обстоятельствах мог бы сделать немало. Обстоятельства эти я не знаю, смутно догадываюсь о них, никого не виню… Но то, что у меня, в конце концов, сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже».

Он недоволен собой, недоволен тем, как он живет. Его гнетет душевный непокой, житейский недуг, на который в иные времена он не обращал внимания.

Пожив вольной жизнью, он в конце концов устал от бродяжничества, от скитания по друзьям, от Домов творчества. Его тянет к уединению, оседлой жизни, к упорядоченному существованию. И нашлась добрая женщина, которая устроила ему жилье, где он мог спокойно работать. Известно ее имя. Фамилия в письме (почему-то в форме стихотворения), которое он ей написал, не указана.

Дорогая Елена Михайловна!
Вы (отдаленно) не представляете,
как я Вам благодарен за это
жилье, возможность работать по —
человечески, в окно смотреть, думать,
сочинять, и вообще существовать,
а не мыкаться по чужим
домам, — я не мог осенью сразу
уехать — и дочку надо было
устраивать в школу из интерната,
и с Инной было сложно, — в общем,
если бывает писатель счастлив —
малости: столу, кровати, лампе, покою,
книжке — мне, честное
слово, ничего больше не надо, —
и это сделали Вы, дорогая
Елена Михайловна.
СПАСИБО!

Г. Шпаликов

Судя по письму, это жилище было временным. И еще: Шпаликов впервые упоминает о том, что Даша жила в интернате. Хочется надеяться, что не типа современных, — тогда существовали интернаты для детей дипломатов, артистов, строителей, других специалистов, вынужденных по роду своей деятельности много разъезжать, подолгу жить за рубежом. Но чего не знаю, того не знаю…

Из-за неудач в делах (читай: отсутствия заработка) он вынужден рыскать по Москве в добывании денег. Не будем сваливать все на пьянство, хотя оно уж точно к достатку не приводит. Сегодня, когда опубликованы все его сценарии, понимаешь: если бы по ним были поставлены фильмы, Шпаликов не знал бы нужды. И на пресловутую бутылку хватало бы. Да и пил бы он меньше.

Не в деньгах счастье… Когда так говорят, перед моими глазами встает сцена из чеховской «Анны на шее», в которой Модест Алексеевич, муж Ани, сидя за роскошно накрытым столом и поедая жирную куриную ногу, учит прозрачных от голода мальчиков, братьев Ани, жить в кротости и смирении.

Деньги счастью не помеха. Больше того, их отсутствие порой ставит перед человеком вопрос жизни и смерти.

Но это все-таки не про Шпаликова…

Больше всех своих невзгод он переживал отлучение от кино.

— А кино нет, нет кино! — говорил, кричал он Евгению Стеблову при случайной встрече. — Только документальное кино осталось, художественного нет!

Художественное кино, однако, было. Но — без Шпаликова. Его сценарии, идеи, замыслы, «проекты», как сейчас говорят, будто это что-то техническое, а не искусство, — были. Фильмов же Шпаликова — не было. Он уже не свой в недавно самом родном доме.

«Завещаю вам только дочку»

«Если бы мне сказали: ты умрешь через пять дней, — писал он в дневнике, — я бы что-нибудь успел, поговорил со всеми. Но мне не сказали. Я почувствовал, что умру сегодня, и вот пишу вам это, все прекрасно сознавая. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди, чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться и не с кем быть. Велика Россия, а позвонить некому. Я понимаю, что это заблуждение, но совершенно искреннее. Я не знаю, зачем жить дальше».

Запись, как и многие другие, без даты.

Жизнь обманула его. Она встретила его с распростертыми объятиями, дала ему очень много и сломала. В последнее время его трудно было узнать, так он изменился. Драматург А.Володин писал в «Одноместном трамвае»:

«У каждого есть свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшно. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал, кричал! — „Не хочу быть рабом!..“ Он спивался. И вскоре повесился».

…Утром 1 ноября 1974 года Гена Шпаликов безуспешно старался занять денег на спиртное. Днем он побывал на Новодевичьем кладбище, где открывали мемориальную доску Михаилу Ромму. Потом они прошлись с Сергеем Соловьевым по кладбищу и расстались.

А вечером Шпаликов покончил счеты с жизнью, затянув смертельную петлю на шее из собственного шарфа. Трагедия произошла в одном из коттеджей Дома творчества писателей, в Переделкине.

Драматург Григорий Горин и поэт Игорь Шкляревский были первыми, кто увидел его мертвым.

Прибыла милиция. Тело увезли. Сделали опись бумаг и вещей, которые находились в номере, опечатали и тоже увезли. До прихода милиции Горину удалось спрятать некоторые материалы с письменного стола Шпаликова, чтобы они не пропали.

Горин, как врач, очень жалел, что дал тогда Гене на красное, а тот просил на водку. «Если бы я дал ему на водку, — говорил Гриша, — он бы выпил больше и не смог повеситься, а так он оказался не сильно пьяный…»

Шпаликов оборвал свою жизнь, видимо, даже не вспомнив, о чем он писал в своем раннем стихотворении:

Даже, без рук
и ног
И с пустотой
впереди
Я б добровольцем не смог
В небытие уйти.

Он не одолел пустоты, и она поглотила его… Среди оставшихся после Шпаликова бумаг, кроме рукописей, была небольшая картинка — парижский пейзаж, сберкнижка, а вместо завещания — короткое стихотворение:

Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!

Все прощание — в одиночку,
Напоследок — не верещать.
Завещаю вам только дочку —
Больше нечего завещать.

…Кстати, о сберкнижке, найденной среди бумаг. Маяковский, в юности любимый поэт Шпаликова, писал: «Мне и рубля не накопили строчки», — и привозил Лиличке Брик из-за границы «автомобильчик».

Когда умер Шпаликов, на его сберкнижке лежало около двух рублей.

Версий о причинах самоубийства Шпаликова было несколько, но в общем они мало отличались друг от друга. Выделялась среди них одна. О ней говорил в интервью «Комсомольской правде» Евгений Стеблов.

Галина Польских, будучи студенткой ВГИКа, дружила с компанией Гены Шпаликова — их было три друга. Один из них и стал первым мужем Гали.

Она высказала страшную догадку Шпаликов с товарищами дали друг другу клятву: если они до 37 лет (возраст гибели Пушкина) не достигнут, по их ощущениям, планки, равной пушкинской поэтике, жить не стоит.

И все трое умерли в 37 лет.

…Мне кажется, это слишком романтично и литературно, чтобы быть правдой.

Да, Шпаликов считал себя поэтом и считал, что поэт не должен жить долго, он должен жить 37 лет. И вообще Шпаликов во многом себя делал, выстраивал под литературу — об этом говорила в одной из телевизионных передач Наталья Рязанцева. Но о клятве, будь она дана Геной, жена бы знала.

У Шпаликова в последние годы жизни были куда более серьезные проблемы, нежели дотянуться до уровня Пушкина. Думаю, в тот трагический день он вряд ли вспомнил о клятве, данной в наивном юношеском порыве.

…А легенда пусть существует, как последняя из легенд о поэте, сценаристе и человеке Геннадии Шпаликове.

Берега Инны Гулая

Самоубийство Шпаликова потрясло Инну Гулая, выбило почву из-под ног. Последнее время они жили раздельно, и она держалась. Но теперь что-то надорвалось внутри.

«Инна позвонила мне по телефону, — рассказывает Наталья Фокина, — это был очень тяжелый разговор… Я не виновата, говорила. К нему ходил кто-то, его навещал. Я не имею к этому никакого отношения… Я говорю ей: „Инна, а какое это теперь имеет значение? Она подумала и сказала: „Очень большое, потому что меня никто не будет снимать“».

Так оно и произошло. Но ведь и при жизни Шпаликова ее практически не снимали. В какой-то мере по его вине, в какой-то — из-за ее болезни.

Наверное, разойдясь со Шпаликовым, она надеялась вернуться в кино. Теперь эти надежды рухнули. А ей было всего 33 года.

У нас просто штампом стало, говоря о какой-нибудь известной актрисе, сетовать, что вот, мол, она мечтала, но ей так и не довелось сыграть Анну Каренину (или там Раневскую в «Вишневом саде», Настасью Филипповну в «Идиоте», Наташу Ростову в «Войне и мире» и т. п. — список можно продолжить) из-за несправедливости судьбы. И говорят это об актрисе, если честно, хорошими и большими ролями не обойденной, имеющей почетные звания и премии, любимой зрителями. Такие сетования не вызывают у меня сочувствия. Умерьте аппетиты, хочется мне сказать такой «несчастной». Россия богата талантами, так дайте и им проявиться, не тяните одеяло на себя!

Вот к кому действительно жизнь была несправедлива — так это к Инне Гулая.

Как прекрасно все начиналось! Интересные роли, поездка в Канны на фестиваль, востребованность. Все, что она играла, было на высоком уровне. Режиссеры, сняв ее однажды, надеялись работать с ней и в дальнейшем.

Но этого не случилось — ее артистическая карьера оборвалась рано. Маленькие роли в нескольких фильмах не могли ее удовлетворить. Инна с обидой наблюдала, как другим молодым актрисам присуждали звания заслуженных, сама же она получила звание заслуженной артистки РСФСР в 1976 году, как бы за прошлые достижения: шесть лет перед этим она не снималась. Лишь в 1977 году она сыграла небольшую роль в сериале «Хождение по мукам».

Личной жизни Инны Гулая я предпослала бы эпиграф к одной

из глав романа Стендаля «Красное и черное» — строки из Гербовника любви:

Любовь — амор по-латыни,
От любви бывает мор,
Море слез, тоски пустыня,
Мрак, морока и позор.

Инна очаровывала, в нее влюблялись с первого взгляда, помимо красоты, она пленяла своим талантом.

«Таких, как она, очень мало, — говорит Александр Пороховщиков. — Одни только глаза какие! Посмотришь в них — и утонешь». Он находит для нее определения исключительно в превосходной степени: изумительной красоты женщина, тончайший человек, редчайшая натура.

Но, видимо, к таким, как она, относится изречение «Не родись красивой, а родись счастливой», будто нельзя быть одновременно и красивой, и счастливой.

А она — была! Она познала счастье исполнения мечты, желаний, радость творчества, любви, материнства. Жизнь до поры до времени была очень щедра к ней. Но потом забрала свои дары обратно, оставив ей «тоски пустыню».

Инну винили в том, что она не понимала Шпаликова, потому и не сложилась их семейная жизнь. Сам Шпаликов в покаянно-грустном стихотворении с веселым названием «Песенка» увидит все по-другому.

1
Жила с сумасшедшим поэтом,
Отпитым давно и отпетым.
И то никого не касалось,
Что девочке горем казалось.

О нежная та безнадежность,
Когда все так просто и сложно,
Когда за самой простотою —
Несчастья верста за верстою.

Несчастья? Какие несчастья —
То было обычное счастье.
Но счастье и тем непривычно,
Что выглядит очень обычно.

2

И рвано, и полуголодно,
И солнечно или холодно,
Когда разрывалось на части
То самое славное счастье.

То самое славное время,
Когда мы не с теми — а с теми,
Когда по дороге потерей
Еще потеряться не верим.

А кто потерялся — им легче, —
Они все далече, далече.

Под стихотворением на этот раз стоит дата: 3 января 1974 года. Начинался последний год жизни Шпаликова…

После смерти мужа Инну Гулая на этом свете удерживала только дочь.

Понимая ее состояние, друзья, как могли, старались ей помочь. Моя бывшая коллега по литературно-драматической редакции Всесоюзного радио, редактор, а позже обозреватель Элеонора Новикова при любой возможности приглашала Инну участвовать в передачах. У них завязались дружеские отношения. Между прочим, у Новиковой не создалось впечатления, что Инна много пила. Те, кто знали ее давно, замечали и тягу к рюмке, и какие-то странности в ее поведении. Ни с того ни с сего у нее резко менялось настроение: могла только что смеяться вместе со всеми — и вдруг уйти в себя, сидеть, надув губы. Иногда будила людей ночными звонками по телефону.

Потом она исчезла из поля зрения всех, стала вести замкнутый образ жизни. Общалась только с мамой и дочкой.

Наблюдая тяжелое состояние дочери, мама поместила ее в психиатрическую больницу. А потом очень пожалела об этом: она не знала, что представляют собой у нас заведения подобного рода. Инну выписали, но чувствовать она себя стала еще хуже.

«Какое-то время я с ней не виделась, — вспоминает ее подруга актриса Елена Королева. — И вдруг мне звонит ее мама Людмила Константиновна и говорит: „Ты знаешь, Инны нет“. — „Как нет?!“ — „Нет. Похоронили…“»

Инна Гулая умерла 27 мая 1990 года в возрасте 49 лет. По некоторым данным, она умерла от передозировки снотворного, однако настоящие обстоятельства столь ранней смерти так и остались неизвестны. Она пережила мужа на 16 лет.

Сегодня, по прошествии многих лет, друзья вспоминают Инну

с теплым чувством, смешной и веселой, прощают ей и взрывной характер, и обиды, и странности.

«Я прощаю Инне Гулая все, — пишет в своей книге Валентина Малявина. — Во-первых, я люблю ее и жалею, во-вторых, она мне как-то искренне сказала:

— Когда тебе плохо, мне чуть-чуть легче становится.

Ее признание непонятно, но я постаралась понять ее. Инна много страдала, и ей часто казалось, что жизнь беспросветна. На фоне чужой драмы или, того хуже, трагедии свои невзгоды уже не такие страшные».

А в памяти зрителей она осталась актрисой небывалой красоты и неординарного таланта.

Писатель, журналист, главный редактор брянской «Учительской газеты» Евгений Потупов вспоминает:

«Думая об Инне, ее несправедливо изломанной судьбе, воскрешая дивный апрельский день, проведенный в общении с нею в старой московской квартире где-то на улице Красина, вспоминаю любимую в студенческие годы на моем, немецком, отделении легенду о таинственной Лорелее. Завораживающий голос Лорелеи был гибельным для всех, кто плыл по Рейну и пытался приблизиться к сказочной весталке-колдунье. Но ведь не зря сказано: смертельное манит…

Инна Гулая, которую знают и помнят как замечательную актрису, исполнившую одну из главных ролей в чудесном нестареющем фильме Льва Кулиджанова „Когда деревья были большими“, внешне ничем не походила на образ из старой немецкой легенды. Лорелея представлялась белокурой, длинноволосой… А у Инны густые темно-каштановые волосы были заплетены в небольшую, очень идущую ей косу.

Кажется, в „Тучах над Борском“, где ее по-настоящему заметили, она впервые появилась на экране с косой. Но потом зрители чаще видели ее со стрижкой, как в двухсерийной ленте Михаила Швейцера „Время, вперед!“ (1965). 24-летняя Инна сыграла у него обаятельнейшую Шуру Солдатову, романтическую комсомолку времени „великого перелома“.

В конце 50-х и в 60-е годы, в пору триумфа советского кинематографа, она — одна из самых востребованных и ярких актрис. Еще совсем юной Инна побывала на фестивале в Каннах, где вместе с Л.Кулиджановым представляла фильм „Когда деревья были большими“. Через десять лет, в 1971 году, снявшись в двухсерийном телевизионном фильме С.Шустера „Пристань на том берегу“, Инна, по сути, простилась с кино. И это в 30 лет!

Был, правда, еще фильм, эпизод в телесериале „Хождение по

мукам“: здесь Инна — налетчица Расторгуева, роль проходная, второго плана. Что-то заставило ее принять предложение режиссера Василия Ордынского, снявшего Инну, вчерашнюю московскую школьницу, в „Тучах над Борском“. Может, это был спасательный круг для актрисы, которую после самоубийства мужа, поэта и сценариста Геннадия Шпаликова, все сильнее закручивал водоворот драматических жизненных коллизий и обстоятельств.

Геннадий Шпаликов, уже имевший, в отличие от Инны, опыт семейной жизни, выбрал в жены ангела. Инна любила его искренне, считала гением. Гений же и сгубил ее… Так, по крайней мере, утверждают те, кто наблюдал их семейную жизнь.

Не судья им… Да и кто возьмет на себя труд разобраться в драме двоих, с трагическим исходом — сначала для Шпаликова, потом — для Гулая.

Теперь, когда опубликовано практически все из творческого наследия Г.Шпаликова, в том числе его письма, становится понятнее то, что до поры до времени знали немногие.

…Фильмы по сценариям Г.Шпаликова знаю и ценю с юности. Ленту же белоруса Виктора Турова „Я родом из детства“, где незабываемы Нина Ургант и Владимир Высоцкий, с его военными песнями, вообще считаю одной из лучших в нашем кино 60-х годов. Такую пронзительную киноповесть о военном детстве мог наверно написать только Шпаликов, подранок с чистой и восприимчивой душой. Фильм раздолбали критики, назвали неудачным. Авторский фильм Шпаликова „Долгая счастливая жизнь“ (где он был и режиссером, а Инна играла главную роль) тоже был жестоко раскритикован.

В 1979 году, спустя пять лет после смерти Геннадия Шпаликова, издательство „Искусство“ выпустило его „Избранное“, куда, помимо сценариев, вошли стихи, песни и заметки из рабочих тетрадей. „Книжное обозрение“ опубликовало мою рецензию на эту книгу. Я был очень рад публикации, тому, что удалось напомнить о „судьбе, сгоревшей между строчек“. Журнал с рецензией отправил в Москву, Инне. Но ответа не получил. Даже не знаю, прочитала ли?

Мы совпали с ней случайно. Как случайны были многие мои московские пересечения.

Человек, с которым Инна (после Шпаликова) какое-то время была вместе, оказался в гостях в одном из писательских домов в районе метро „Аэропорт“. Туда же, в квартиру дочери знаменитого фотографа М.Наппельбаума, водившую знакомство с именитыми соседями и кое с кем из литературного молодняка, нагрянул в один из теплых, весенних дней и я с другом. Мы и

раньше заглядывали к ней пообщаться, узнать литературные новости, распить бутылку-другую вина…

За столом наш новый знакомый по имени Володя много рассказывал о себе, своих пьесах (ни одной из них я не видел напечатанной, поставленной на сцене, ни об одной из них не слышал от других).

Володя обаял говорливостью, артистизмом, а больше всего заинтересовал именами тех, с кем приятельствовал и сиживал по временам — то в цэдээловском буфете, то в ресторане ВТО на улице Горького.

Застольный разговор в одночасье сблизил и подружил. Было решено увидеться на следующий день у Володи, точнее, у Инны Гулая, ибо с жильем у него было, по-моему, еще хуже, чем с пьесами. Единственно, о чем заранее попросил Володя, не касаться в разговоре имени Шпаликова — Инне по-прежнему больно, хотя после случившейся трагедии прошло несколько лет. Тогда же я услышал не до конца осознаваемое мною слово наркотики, которыми кто-то снабжает „Инку“, а Володя, как может, пытается этому воспрепятствовать.

…В назначенное время в указанном доме и означенной квартире Володи не оказалось. Но нас ожидали. Он появился позже.

Теперь, по прошествии десятилетий, я прокручиваю в памяти одну и ту же пленку… Каких тем мы не коснулись, восторженно поднимая бокалы с терпким итальянским вермутом! Платонов… В искреннем порыве подарил Володе однотомник прозы, купленный накануне в Перемышле. Инне — роскошное худлитовское издание стихотворений Вильяма Блейка, приобретенное в том же магазинчике на калужской земле, где в это время Савва Кулиш заканчивал съемки фильма о Циолковском с Евтушенко в главной роли. Помню, как заблестели, заискрились глаза у Инны, когда я рассказывал о съемках, ведь ее киностань оставалась на том берегу, до которого уже не доплыть…

Она это знала.

Мы без умолку говорили обо всем. Мы с другом приглашали их в гости на Брянщину и в Калугу, где временно он обитал.

Сегодня, когда судьба Инны Гулая, актрисы удивительного лирического дара, редкого человека, предстает передо мной во всех драматических изломах, я вижу только ее глаза — невозвратно-близкие, обволакивающие нежностью, печалью и тем светом, что остается навсегда.

…Мы договорились встретиться с нею осенью. И уже вдвоем.

Не сбылось…

Инна ушла из жизни через 13 лет. Добровольно. Выпив смертельную дозу тех самых таблеток, которыми все последние годы спасалась от тоски и одиночества. Похоронили ее на Домодедовском кладбище. Почему не нашлось места поближе, на том же Ваганьковском, — не знаю.

Иногда, приезжая в столицу, хочу заставить себя съездить на это кладбище, постоять у могилы Инны. И не могу. Ведь она не здесь, под тяжелой плитой. А где-то там — на другом берегу…»

«Я к вам травою прорасту…»

Наша страна всегда была сказочно богата талантами. Может быть, оттого мы так беспечны, расточительны и забывчивы. Впрочем, не все и не всегда. Есть люди, которым вообще не свойственно беспамятство, которые чтут имена, ставшие неотъемлемой частью духовного мира их поколения, и передают эстафету памяти другим поколениям.

В 1993 году Леонид Филатов, актер, режиссер, писатель, замечательный человек, ныне, к сожалению, тоже ушедший из жизни, открыл на Первом канале ТВ авторский цикл передач «Чтобы помнили». И начал он его с рассказа об актрисе Инне Гулая и кинодраматурге Геннадие Шпаликове.

На экране луг, поросший буйной травой и полевыми цветами, и на фоне их возникают лица тех, кого нельзя, кого мы не должны забывать. Быть может, образ бескрайнего цветущего поля навеян провидческим стихотворением Шпаликова:

Я к вам травою прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу
Вся в ожидании проснуться,

Однажды утром зацвести,
Пока ее никто не видит, —
А уж на ней роса блестит
И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз,
И согревает нашу землю,
И достигает ваших глаз,
А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно
Опущенные тяжко веки,
И обо мне грустить смешно
Как о реальном человеке.

А я — осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит разряду истин.

Желанье вечное гнетет —
Травой хотя бы возвратиться.
Она из мрака прорастет
И к жизни присоединится.

Это желание Шпаликова исполнилось. Исполнилось все, что было им задумано. Он и Гулая попрощались с нами фильмом «Долгая и счастливая жизнь», которая никому из них не была суждена физически, но в высшем смысле — суждена.

В передаче Леонида Филатова «Чтобы помнили» о трагической судьбе актрисы и сценариста, поэта поведали с экрана мать актрисы Людмила Константиновна, коллеги и друзья: Юрий Никулин, Сергей Соловьев, Александр Адабашьян… Звучали стихи Шпаликова. Одни фотографии героев передачи сменялись другими. Ангельский лик Инны Гулая, улыбка Шпаликова…

«У таких людей — иной жизненный ресурс», — говорил мудрый Адабашьян. Он напомнил высказывание одного большого режиссера: «Не испытывайте силы художника за пределами его творчества. Там у него может их не быть».

Не только о драме этой звездной пары говорили выступавшие, но и о счастье, которое ее не обошло.

Последние годы жизни Шпаликова все написанное им отвергалось, как будто и нет такого сценариста. Но когда его действительно не стало на свете, память о нем начала возрождаться. Заговорили о «кинематографе Шпаликова», подразумевая под этим не только его сценарии, но и режиссерскую работу. Всерьез обратили внимание на Шпаликова-поэта.

В молодые бесшабашные годы Шпаликов ловко разыграл друзей, выдав стихотворение Пастернака за свое. Нельзя сказать, чтобы друзья были литературно не образованны, но все поэты и писатели у них делились на «своих» и «не своих». Они любили Хлебникова, вообще футуристов, будетлян и им подобных. Все остальное, включая Серебряный век, они не принимали, считали слишком традиционным… И вот однажды Гена вскакивает на табуретку и, размахивая руками, читает:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Потрясенные слушатели спрашивают: «Гена, это ты написал?» А он отвечает: «Конечно, я». Неописуемый восторг компании погасил весьма кстати появившийся Андрей Тарковский: «Вы с ума сошли! Это же Пастернак!»

Согласен ли был с поэтом Шпаликов, что быть знаменитым некрасиво, или нет — неизвестно. Но архива он не заводил, над рукописями не дрожал, и друзьям, принявшим его творческое наследие, пришлось совершить поистине героический труд, чтобы подготовить к печати и издать книги Геннадия Шпаликова.

Первая из них — «Избранное» — была выпущена в свет московским издательством «Искусство» в 1979 году (составитель М.Снидерович. Предисловие Е. Габриловича и П. Финна). Вторая — «Геннадий Шпаликов. Я жил, как жил. Стихи. Проза. Драматургия. Дневники. Письма» — более полная. Вышла она в Москве, в Издательском доме «Подкова» в 1998 году. Составитель книги Юлий Файт включил в нее главы незавершенного романа писателя.

Естественно, в своей книге я опиралась на эти издания. О Г.Шпаликове довольно много напечатано в периодической прессе, рассказано в телепередачах, ему был посвящен документальный фильм, созданию которого мы тоже обязаны его друзьям кинематографистам. Жизнь его со смертью не кончилась.

Войти в атмосферу студенческих лет Шпаликова, его начала, отечественного кинематографа 60-х, дополнить какими-то штрихами портреты героев этой книги мне помогли бывшие вгиковцы: преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссеров Людмила Голубкина и режиссер Андрей Ладынин, режиссер Эмма Дукельская. Я благодарна кинокритику Наталье Венжер, снабдившей меня справочными материалами, писателю Евгению Потупову, приславшему мне, помимо своих воспоминаний, вырезки из газет и журналов с публикациями, посвященными творчеству Шпаликова и Гулая.

Геннадия Шпаликова похоронили на Ваганьковском кладбище.

На памятнике высечены строки из его стихотворения:

Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Каждый год в день его смерти на его могилу приходят друзья. А в 2003 году на доме 13 по Тверской-Ямской улице, где Шпаликов жил с родителями, была установлена мемориальная доска. На ее торжественное открытие собралось около ста человек. Среди них М. Ромадин, Н. Рязанцева, П.Финн, Евг.

Герасимов, Ю. Файт, В.Ливанов, А.Хржановский, М. Швыдкой.

В своем выступлении Никита Михалков сказал:

— Все проверяет время. Могли ли мы в семидесятые предположить, что когда-нибудь будем открывать доску Геннадию Шпаликову? Его побаивались, когда он был возбужден, но с нетерпением ждали в гости, потому что было счастьем слушать его невероятные истории и песни, которые он пел на один мотив. Мы все его любили.

Открытие мемориальной доски Геннадию Шпаликову показывает, что мы помним не только официальных людей, но и тех, кто реально внес в наше искусство большой вклад.

Целый период жизни отечественного кино можно назвать шпаликовским. Не только его сценарии, стихи, песни, фильмы, но и общение с ним, его идеи одухотворяли кино 60-х.

Последние годы жизни и посмертная судьба Инны Гулая были куда как печальны. Она разделила участь многих актрис, просверкавших на небосклоне отечественного кино и безвременно покинувших этот мир в забвении и одиночестве. Но сыгранные ею роли остались людям, в благодарной памяти их она жива.

…Жизнь подтвердила горькую правоту подруги Инны Елены Королевой, увидевшей в глазах крохотной Даши Шпаликовой предвестье трагедии.

Даша окончила актерский факультет ВГИКа, сыграла главную роль бывшей детдомовки в фильме «Детская площадка», сценарий которого написал Павел Финн, потом роль еще в какой-то картине — и покинула кинематограф. Вела богемный образ жизни, пробовала наркотики, уходила в монастырь, лежала в психиатрической клинике…

Свет уже далеких звезд — Шпаликова и Гулая — достиг наших дней. Мы смотрим картины, в которых играет Гулая, фильмы по сценариям Шпаликова, читаем его стихи, вспоминаем его песни.

Их герои стали частью огромной людской общности, они продолжаются в пространстве и времени. Верится, их создателям суждена долгая жизнь в нашей памяти, в памяти будущих поколений.

Геннадий Шпаликов
Долгая счастливая жизнь
Киносценарий

1

Сквозь осенний лес, который для каждого имеет свою привлекательность, светило вечернее солнце. Свет его, проходя между облетающими деревьями, был ясен и чист. Он уже как бы снизу озарял стволы и ветви, и мягко вспыхивали под его лучами верхушки деревьев, светились листья, застывшие в неподвижности. Ото всего уже неуловимо веяло ноябрем, хотя до снега было еще далеко, но воздух к вечеру холодел и был свеж, как перед снегом. Уже во многих приметах проступало нетерпение зимы.

Непосредственно к лесу примыкало большое строительство; его широкая панорама темнела на фоне заката прямоугольниками корпусов, силуэтами кранов, без которых немыслим пейзаж молодого города; краны разнообразно и на разной высоте высились над домами. Вечерний свет, проходя сквозь корпуса, заставлял ярко сверкать стеклянные проемы.

От строительства по направлению к лесу, неорганизованно растянувшись в длинную цепочку, шли молодые люди. Так они вступили в лес. С первых же минут их появления, да и, пожалуй, с первых кадров нашей истории будет слышна мелодия; ее наигрывал кто-то из идущих молодых людей на гитаре, а кто-то другой помогал ему на аккордеоне, но не особенно помогал — гитара все-таки преобладала. А играли они старую песню «Отвори потихоньку калитку», спокойствие и простота которой сочетались со спокойствием осеннего заката, неторопливым проходом через лес, когда и шагов почти не слышно — их заглушали облетевшие листья.

Лес кончился. Прервался ненадолго, пропустив через себя шоссе. Шоссе в этом месте возвышалось над лесом, находясь почти на уровне верхушек деревьев, и, чтобы подняться на него к автобусу, ожидавшему молодых людей, им пришлось взбираться вверх, держась за кусты и помогая друг другу.

Во время этого подъема все они исчезали на короткое время, чтобы появиться внезапно на шоссе перед автобусом, возникнуть четкими темными фигурками на фоне неба, когда даже гитара,

поднятая кем-то над головой, будет иметь свой контур.

Вот он уже есть, контур гитары, чей-то силуэт — и еще один.

Собрав в себя всех молодых людей, появившихся с разных сторон шоссе, автобус рванул с места и помчался, освещенный последними солнечными лучами, равно как и верхушки окружавших автобус деревьев. Затем дорога пошла под уклон и освещение сделалось обыкновенным.

Это было в субботу, в пятом часу. Двадцать два молодых человека (в их числе были и девушки) отправились на этом автобусе в город Н.

Город Н. был похож на все молодые города, возникшие в Сибири, и представлял из себя тот притягательный культурный центр, в который устремлялись в праздничные и выходные дни молодые люди со всех строек, расположенных от него и в ста и более километрах.

Стройка и поселок, откуда в пятом часу отошел автобус, находились в ста двадцати километрах от города, и, следовательно, предстояло три часа дороги. Но это не пугало пассажиров автобуса, одетых празднично, чисто выбритых. А девушки, сидевшие с ними, были одеты столь же нарядно, и в их настроении была приподнятость и оживление, свойственные праздникам и отъездам. Автобус у них был свой, от строительства; в нем можно было, не стесняясь присутствия посторонних, петь всю дорогу, смеяться по такому поводу, который человеку случайному, не их круга, мог бы показаться странным, а также пересаживаться с места на место, разговаривать с водителем, курить, а если понадобится, и остановить автобус у какой-нибудь березовой рощи, белеющей в темноте стволами, или невдалеке от озера, на берегу которого горит костер, сладко дымя и заставляя всех запеть, не сговариваясь: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету…»

И эту спели.

И еще многие, из разных лет, в том числе из военных, хотя в автобусе ехали люди очень молодые, не воевавшие, а многие еще и не служившие в армии или во флоте, но пели они, как ветераны.

Девушка, которая займет в этой истории основное число страниц, сидела спиной в сторону движения и пела всю дорогу. Слух у нее был неважный, но зато голос вполне громкий, и желание петь преобладало над музыкальными способностями, равно как и чувство, с которым она пела.

На ней был берет, — челка белая из-под него, и еще плащ. Этой легкостью одежды она выделялась среди своих товарищей, а

больше ничем. Ее звали Лена.

Уже стемнело, и водитель зажег фары.

Заяц перебежал шоссе, вызвав своим появлением восторг и крики.

И внезапно свет фар своими параллельно идущими лучами выхватил из темноты чемодан и сумку, поставленные точно на середине шоссе.

Водитель вынужден был затормозить перед этими предметами, возникшими неизвестно откуда. Но тайна их появления тут же раскрылась самым обыкновенным образом: из-за дерева вышел человек и направился к автобусу.

— Здравствуй, — сказал он водителю, приоткрывшему дверь. — Подвезешь?

— Как компания захочет… — Шофер кивнул назад.

— Я человек компанейский. У меня и выпить есть.

— Хватайте его, а то убежит! — крикнул кто-то.

— Вы решайте, а то я и передумать могу, — сказал человек. — Тут автобусов много ходит.

И вот уже он протягивал в автобус чемодан, сумку и сам вошел в него, присев рядом с Леной у самой двери.

Автобус тронулся.

Парень в накинутом на плечи пальто, из-под которого виднелись «молнии» и курточка, заиграл на гитаре какую-то песню, а остальные разглядывали беззастенчиво нового пассажира. Он сидел, обратившись лицом ко всем, кроме Лены.

Разглядывание его нисколько не смущало. Он в свою очередь спокойно смотрел на всех, а потом сказал:

— А выпить у меня, ребята, нечего. Могу чемодан открыть. Я сам три месяца вообще ничего не пил. Но кто хочет, в городе может выпить.

Лицо у него было молодое, но усталое, небритое. Он казался старше своих лет, и говорил он уверенно.

— А кто ты такой? Откуда ты тут появился? — спросила его Лена перед всеми. Спросила весело.

— Я? — Он посмотрел сбоку на нее, ответил ей, а не всем: — Иностранный разведчик. Разве не похож?

— Под геолога работаешь?

— Да. Молодой специалист. Отстал от партии. Не ел пять дней, тонул, горел, но бодрости не терял. Корешками питался, песни советских композиторов пел: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат».

— Смотри, и песни знает!

— Пришлось выучить: приметы времени.

— А эту знаешь? — спросила она и громко запела:

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.

— «И кто его знает, чего он моргает, — тотчас подхватил парень. — Чего он моргает, на что намекает…»

Голос у него оказался точно таким же, как у Лены. Пел он громко, а слуха не было, и Лена, не прекращая петь, в знак солидарности пожала ему руку, после чего они уже всем автобусом допели до конца эту песню, и она получилась и, как это бывает иногда с широкими песнями, вовлекла поющих в свое единственное настроение, и люди охотно поддавались этому настроению, принимали его, захваченные мелодией и словами, так складно и просто соединенными в понятный для всех смысл.

А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки, —
Догадайся, мол, сама.

И кто его знает,
На что намекает.

Я разгадывать не стала —
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.

И кто его знает…

Лена и парень, сидевший рядом с ней, пели с одинаковым старанием, воодушевляясь все более к концу песни.

Этот случайный здесь человек, начавший петь несерьезно, как бы продолжая диалог с Леной, оказался тоже захваченным песней и еще чем-то, что возникало на это короткое время между ним и незнакомой девушкой, и хотя, может быть, ничего между ними и не возникло, но ему показалось что-то, чему соответствовал припев.

А кто его знает, как это получается? Кто знает, каким образом люди находят друг друга? Кто знает, с чего начинается привязанность, влечение, необходимость именно в этом человеке, а не в другом?

Все эти обыкновенные мысли ни на секунду не появились у Лены и ее соседа, но в самой песне и в том, как они ее пели, были и совершенно определенно присутствовали размышления этого круга.

На повороте на темном мокром шоссе автобус занесло и развернуло поперек. Шофер затормозил. Пассажиров силой инерции бросило вперед и влево, но все обошлось вполне. И могу добавить: эта загадочная, но уже объясненная наукой сила инерции помогла как-то сблизиться тем, кто сидел по разным углам автобуса, не решаясь сесть рядом. Однако переполох прошел. Автобус поехал.

Лена, как и всякая девушка в минуту опасности, искала опору и защиту. Такой защитой и опорой оказался сидевший рядом незнакомый парень.

Им мог быть и другой, но сидел он, и Лена прижалась к нему.

Между тем автобус уже ехал, уже потянулись за окнами еле видимые во тьме деревья, обозначенные лишь переходом от полного мрака к просветлению на вершинах, где листья реже, ветки короче, где начинается свободное пространство вечернего ясного неба. Уже играла гитара, но пока никто не пел, не было и разговоров. По шоссе невысоко стоял туман. Лена все еще держала голову около этого незнакомого парня, рукой касалась его плеча.

— «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана», — негромко сказал парень, улыбнулся и дунул сверху на затылок Лены.

Светлые волосы ее легко приподнялись.

— Ничего себе тучка. — Лена села прямо.

— Главное, в субботу глупо разбиваться. В понедельник — другое дело, — сказал незнакомый парень.

— Ужасно я всего этого боюсь, — сказала худенькая девочка в глубине автобуса. — Мне нагадали, что я умру не своей смертью и в тридцать пять лет.

— Кто же тебе это нагадал? — спросил ее сосед, обнимая.

— Цыганка, за рубль. По линиям ладони, — сказала девочка, и в автобусе засмеялись.

Лена и незнакомый парень молчали. Потом Лена сказала, обращаясь к нему:

— А я боялась воды. И очень долго. Я с родителями до пятнадцати лет жила в степи, под Карагандой…

…На экране возникает не степь. Обычный среднерусский пейзаж. Серый летний день; река, отмель; невдалеке лес.

— А на каникулы меня позвал дядя к себе, под Воронеж, — продолжает голос Лены, — там замечательные места. А как же

река называлась? Небольшая речка, но глубокая.

— Нил, — отвечает голос незнакомого парня.

— В воскресенье меня позвали ребята кататься на лодке, — продолжает голос Лены. — Плавать я не умела совсем. Я так им и сказала.

…Теперь на реке — лодка. В лодке — подростки. Все аккуратно одетые, в светлых воскресных рубашках. Парень играет на гармошке. Лена сидит между двумя ребятами, обмахиваясь веточкой. Лицо у нее счастливое, безмятежное. Все поют, и получается даже стройно: «В рубашке нарядной к своей ненаглядной пришел повидаться хороший дружок, вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок…»

…Лена увлечена пением, рекой, лодкой и не замечает, что у ребят есть какая-то договоренность, план.

И они осуществляют его: на самой середине этой неширокой, спокойной речки Лену сталкивают в воду. В чем сидела — в том и летит. В платье, в тапочках. На корме приготовился парень в трусах: спасать, если что. Лена появляется тотчас, неистово бьет руками по воде — и странно! — держится на ней, не тонет. Ребята подбадривают ее криками, но Лена не обращает на них никакого внимания. Лицо у нее напряженное, злое. Погрузившись еще раз с головой и вынырнув снова, она направляется не к лодке — до нее можно дотянуться рукой, а к берегу — берег метрах в десяти. Она плывет! Колотит руками и ногами, старается, высоко задирает подбородок — и все-таки воды она наглоталась — и, наконец чувствует ногами дно и выходит на берег. Платье облепило ее плотно, вода стекает с прямых длинных волос, лицо гневное, губы дрожат от обиды. А на лодке — восторженные крики, машут руками, приветствуют ее, рады за нее. Лена снимает тапочку и неловко швыряет ее в лодку. Не долетев, тапочка тонет. Лена поворачивается и уходит прочь по отмели. Утонувшая было тапочка спасена, парень машет ею над водой. Лену зовут. Но она уходит. Лицо ее сохраняет выражение обиды, слезы беспомощно текут по щекам, хотя тут попробуй разберись — где слезы, а где вода!

…И сразу же — озаренное (слова этого не боюсь!) нежностью к тому, что тогда было, что вспомнилось сейчас, счастливое лицо Лены в автобусе. Она молчит, задумавшись, и молчит незнакомый парень, ее сосед.

Он как бы увидел все, что увидели мы, — девочку на реке, ее

угловатость, обиду, которая теперь — счастье, тапочку, летящую над водой, горсть песка, слезы на лице, лето…

И у него вдруг появилась необходимость, потребность рассказать этой девушке, которую он видел в первый и, возможно, в последний раз, что-то о себе, какой-нибудь случай, происшествие. К этому располагали дорога, тьма за окнами, гитара в глубине автобуса, сама недавняя рассказчица, сидящая рядом. И рассказать хотелось не пустяк, не веселую глупость — анекдот, а другое, личное, о чем не со всяким заговоришь, не вспомнишь, понимая, что не всем интересно слушать то, о чем тебе вздумалось вспоминать.

— А у меня такой случай был, — сказал сосед Лены. — Я в сорок шестом году в ремесленном учился. Тебе интересно?

— Давай! — сказала Лена, и он поверил сразу, что ей интересно.

…И теперь уже Лена как бы увидала подростков в замасленных ватниках, в тяжелых ботинках, в шапках и кепках во дворе ремесленного училища, посреди которого высилось деревянное сооружение гимнастического городка: мост, бум, брусья и канат, завязанный на конце толстым узлом, потрепанный, расчлененный — нитки висят. На канате раскачивались до страшного скрипа железных креплений, на шест лезли, достигая вершины, и, скользя вниз, обжигали ладони; по буму расхаживали, сталкивали с него. День был переход от марта к апрелю — прекрасный день. Все мокрое, весеннее, во всем сверкание и особый блеск. Трава уже высохла местами. Прелесть воздуха, шум в голове, облака. Хорошо стоять у теплой кирпичной стены, спиной к ней, без шапки, лицом к солнцу и наблюдать, как оно разноцветно вспыхивает сквозь приподнятые на мгновение ресницы. Много весною хороших занятий.

— Я поспорил с ребятами, что пройду от ремесленного до нашего дома, ни разу не коснувшись земли, — говорит голос Виктора.

— Как же так — не коснувшись? — спрашивает Лена.

— Был план.

— А на что поспорил?

— Да ни на что.

…И вот один из подростков сбрасывает ватник; передает его товарищу. Гимнастерку заправляет в брюки. Мы не видим близко его лица. Он довольно высок, подтянут. Рукава гимнастерки коротковаты ему, и брюки можно бы чуть подлиннее. Он из всего уже вырос. Ботинки у него тяжелые, большие, солдатского

образца.

С бума начинается эта панорама, с бума. Он проходит его легко, задумчиво и никуда не торопясь. Руки его свободно опущены, взгляд сосредоточен.

Толпа подростков (человек пятнадцать) сопровождает его по земле, с которой он так необдуманно простился. Подростки возбуждены предстоящим зрелищем, в благополучный исход которого они верят, кажется, не очень.

С бума — на бочку! — прокатившись через каменный двор с грохотом, и на забор, высокий, чуть наклонный; он идет по нему с той же легкостью и видимой небрежностью, которая и есть настоящее мастерство; затем кирпичная ограда — это просто! — прыжок с нее на крышу сарая, прогулка по ней — доски скрипят под ногами; теперь пожарная лестница — замешательство, до нее от крыши сарая метра четыре — не допрыгнуть, да и падать высоко. Но пусть удача сопутствует храбрым! — он находит на крыше шест, пробует его — шест надежен, крепок. Упершись шестом в землю, он перелетает к пожарной лестнице и — вверх, на крышу, по крыше между трубами — теперь жесть гремит у него под ногами, а в желобах на крыше лежат закинутые сюда давным-давно теннисные и другие мячики, потерянные, казалось бы, навсегда, и он бросает мячи вниз, в руки сопровождавших его внизу ребят — радость необычайная! — а он между тем спускается с крыши по дереву, оголенные ветки которого рядом с карнизом; затем опять крыши склада, прыжки с одной на другую, переход по гнущейся под ногами доске, прыжок на покатую, ребристую крышу гаража, отсюда рукой дотянуться до карниза второго этажа — еще три шага, прижавшись плотно к стене; приоткрыв окно, свое окно, он исчезает в темноте комнаты — победа.

…Лена захвачена рассказом. И у незнакомого парня лицо тоже счастливое и — странное дело — усталое, как будто он только что преодолел все эти крыши, ограды и деревья.

И еще одна странность: ему вдруг показалось, что он бежал, катил на бочке, взлетал на шесте только для этой девушки, сидевшей рядом, — больше ни для кого.

Но он тут же усмехнулся этой мысли и забыл о ней.

2

А между тем автобус въехал в город.

Этот город сплошь состоял из новых домов, которые если не

радовали разнообразием архитектурных решений, то, уж во всяком случае, делали город городом, где есть улицы, рекламы на фасадах, витрины, надписи над крышами и окна, значение которых огромно, когда они светятся.

Вообразите еще и улицу, вечернюю толпу, молодые лица, голоса, треск льда на подмерзших лужах.

Автобус остановился у входа в городской драматический театр.

Судя по всему, сегодня был полный аншлаг: толпы страждущих осаждали театральный подъезд, над которым в полном несоответствии с архитектурой этого здания висели три старинных фонаря.

Не старинных, конечно, но похожих на те старинные фонари.

Афиша, извещающая о том, что сегодня здесь, в этом городе, МХАТ дает представление пьесы Чехова «Вишневый сад», была набрана традиционным мхатовским шрифтом начала века.

Внизу было прибавление местного характера: «В антрактах танцы под оркестр и буфет».

Лена и остальные приехавшие вышли из автобуса.

— Пойдешь? — предложила Лена своему соседу. — Свободно могу провести. — Она развернула перед ним длинную ленту из двадцати двух билетов. — Пока считать будут — проскочишь.

Он не успел ответить, как на Лену со всех сторон налетели страждущие молодые и пожилые люди, окружили ее плотным кольцом, оттолкнув этого парня, который с ней ехал, сидел рядом.

— Караул! — только успела крикнуть Лена. — Ребята, на помощь!

И ребята из автобуса устремились к ней, а ее случайный сосед оказался ни при чем.

3

Парня этого звали Виктором. Он зашел в парикмахерскую, совершенно пустую.

Старик швейцар читал газету и пил чай из большой кружки: домашняя картина покоя и отдохновения!

В зале все десять кресел были свободны. Мастера скучали. Один из них (от нечего делать) сам решил побриться.

От зеркальных стен, белого кафеля, умывальников, блеска инструментов, белых халатов мастеров, от ламп дневного света и еще от вальсов по радио, веселящих душу, было празднично и тепло. Есть такие места, где всегда праздник. Парикмахерские в

их числе, а еще, может быть, магазины, где продают и прокручивают пластинки, но речь не о том.

Виктор поколебался чуть, выбирая, куда бы сесть.

— Иди ко мне, — предложил ему пожилой мастер.

Виктор послушно сел к нему.

— Постричь, побрить, и я бы голову помыл, — сказал он, глядя снизу вверх на мастера, ожидающего указаний.

Тотчас же над ним с ловкостью была развернута белоснежная, хрустящая простыня, и он с удовольствием ощутил ее чистоту и холод.

А мастер уже взбивал горячую пену, пробовал на ремне бритву, и Виктор улыбнулся вдруг, сам того не желая, от всей обстановки, в которую он попал, от блеска зеркал, от вальса по радио, от вида собственной бороды и еще неизвестно отчего. Бывает, радость охватывает человека, а он и не знает, в чем тут дело, что тому причиной — молодость, душевное здоровье? — все так, но есть в этом и безотчетное: радость, и все.

4

Итак, показывали «Вишневый сад».

Действие этой пьесы в момент, когда мы обращаемся к ней, происходит где-то в конце второго акта.

Может быть, переживания героев не так уж захватывали зал, как это было в 1904 году, но актеры играли хорошо и серьезно, и все обстоятельства неустроенности и неразберихи и то, что сад продавали ловкому человеку, и денег ни у кого не было, а студент был чист, и все сидели на чемоданах и разговаривали, — все это встречало понимание и сочувствие.

Лена сидела во втором ряду верхнего яруса рядом с подругой, и они, передавая друг другу маленький перламутровый бинокль из гардеробной, следили за действием.

Причем надо сказать, что когда бинокль был в руках у Лены, то ее подруга смотрела больше на Лену, а не на актеров, дожидаясь нетерпеливо своей очереди.

Лена была в своем выходном платье — вот вам ее платье для театра, 7 ноября, 1 Мая, Нового года, дней рождения и других праздников: темное, с опрятным белым отложным воротничком.

Свежее ее лицо при этом воротнике цвело.

Перед концом действия Лена придумала новый способ смотреть в бинокль, который обязательно приходит в голову всем, кто первый раз берет его в руки: перевернуть бинокль и все сразу отодвинуть в некое удаленное пространство. А кроме того,

уже обычным способом смотрела в бинокль по рядам, по балкону налево в надежде увидеть парня, ехавшего с ней, но его не было.

5

Виктор в театр не попал.

Дверь была заперта, и для большей предосторожности сквозь ее ручку еще пропустили стул — предусмотрительность вовсе не лишняя!

Виктор потолкался недолго у подъезда, постучался в стекло, но поскольку рядом с ним ходили люди, одержимые одним желанием, он решил действовать в одиночку.

Он пошел вокруг театра по замерзшим лужам.

За ним упорно следовал подросток в большой шапке, который каким-то седьмым чувством увидел в Викторе человека, за которого следует держаться.

Виктор остановился, и подросток встал тоже.

— Что тебе? — спросил Виктор.

— Ничего, — сказал подросток.

— Иди отсюда, — предложил ему Виктор, но подросток не тронулся с места.

Виктор повернулся и пошел вдоль стены. Подросток за ним. Они почти одновременно увидели раскрытую форточку в окне первого этажа, дотянуться до которой было невозможно, но если подросток встанет на плечи Виктору, то он дотянется, а при известной ловкости проникнет через нее в театр.

Подросток уже снимал пальто. Шапку он не снял.

— Я потом вам окно открою, — сказал он. — Вы меня только подсадите.

Виктор подсадил его.

Он гибко и бесшумно проскользнул в форточку и исчез в темноте.

Ждать пришлось недолго. Окно раскрылось. Виктор бросил подростку его пальто, подтянулся, и вот они уже стояли рядом на паркете, и где-то совсем близко от них звучали голоса актеров.

— Мы попали за кулисы! — шепотом говорил подросток. — Я так и думал! Я же знаю это окно!

— Ты что, театрал? — спросил Виктор.

— Тише! — сказал подросток, прислушиваясь к доносившимся голосам. — Сейчас конец второго действия… Точно…

Виктор различал уже в полутьме свешивающиеся сверху веревки, лестницу.

Женский голос говорил где-то рядом:

— Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду отсюда, даю вам слово…

— Это Аня, — сказал подросток шепотом.

— Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите! Будьте свободны, как ветер! — предложил мужской голос.

— А это? — спросил Виктор.

— Трофимов, — сказал подросток, — студент…

— Как хорошо вы сказали! — с восторгом ответила Трофимову невидимая отсюда Аня.

— Верьте мне, Аня, верьте! — продолжал крепнущий голос Трофимова. — Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес!.. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…

— Восходит луна, — задумчиво сказал голос Ани, и тут же заиграла гитара.

Виктор засмеялся.

Подросток показал ему кулак.

— Да, восходит луна, — сказал Трофимов и замолчал, а гитара играла. — Вот оно, счастье, вот оно идет! — Голос Трофимова дышал бодростью. — Подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги! И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

— Аня! Где ты? — вмешался еще один женский голос.

— Опять эта Варя! — сердито сказал голос Трофимова. — Возмутительно!

— Что ж? — сказал голос Ани. — Пойдемте к реке. Там хорошо.

— Пойдемте, — согласился Трофимов.

— Аня! Аня! — снова позвал женский голос.

Через несколько секунд раздались громкие аплодисменты.

— Пошли, а то сейчас здесь свет зажгут, — сказал подросток, весело блестя глазами. — Со мной не пропадешь!

Под продолжающиеся аплодисменты они быстро прошли по коридору.

Подросток шел впереди, свободно ориентируясь в полутьме и выбирая знакомый ему путь.

Виктор следовал за ним.

На мгновение открылась сбоку слева небольшая дверь — фанерная, скрипящая, пропустив сразу в темноту коридора яркое пятно света, и навстречу Виктору прошли не такие уж и молодые Аня и Трофимов; их лица еще несли выражение того, о чем они только что говорили на сцене, но это выражение сходило с них,

остановившись в неподвижности, застыв на мгновение, пока они шли, но сходило.

Подросток исчез куда-то, и Виктор, уже сдав пальто, оказался один в пустом фойе.

В зале продолжались аплодисменты, а здесь еще не зажгли свет, было тихо, прохладно.

Музыканты, расположившиеся у стены, пробовали инструменты; буфет готовился принять посетителей. На мраморных столиках в тарелках лежали бутерброды с колбасой и сыром, высились бутылки воды и пива, нежнейшие пирожные покоились на тонкой бумаге.

Виктору открыли бутылку пива; он взял сразу два бутерброда, сложил их вместе и принялся за еду.

Но вот двери распахнулись, зажегся свет, и зрители, громко разговаривая и испытывая потребность в движении, в шуме, мгновенно заполнили фойе.

Многие, не задумываясь, направили свои шаги к буфету, где кроме пива и воды можно было выпить шампанского в разлив, а поскольку ничего другого не предполагалось, то пили шампанское, угощая своих дам, одетых в праздничные платья, чуть помятые за два действия.

Другие предпочитали совершать традиционный круг по фойе, обмениваясь впечатлениями и разглядывая друг друга, и в этом находили удовольствие.

Но вот оркестр, который незаметно, как бы исподтишка настраивал свои трубы и контрабасы, грянул на весь театр быстрый танец, вызвав сразу веселый переполох, общее движение, улыбки, взгляды, направленные в поисках девушек, которых необходимо тут же пригласить, а то налетят предприимчивые молодцы, и не успеешь произнести и слова, как увлекут их куда-то.

Странен был переход от созерцания жизни конца XIX века, которая вызывала у многих, даже молодых зрителей определенное сопереживание, в эти совершенно иные заботы и интересы, которые, казалось, стали главной целью и задачей вечера: танцевать, разговаривать, завязывать знакомства, искать кого-то в толпе, радоваться происходящему здесь.

Виктор стоял у стены, прижатый теми, кто не танцевал, и разглядывал танцующих.

Еще не зная, зачем это ему нужно, он искал девушку, ехавшую с ним в автобусе. Неожиданно он увидел ее лицо в профиль, тут же исчезнувшее за спиной того, с кем она танцевала, и возникшее после поворота в танце над его плечом.

Воротник ее платья ослепил Виктора белизной. Лицо ее,

пропавшее с очередным поворотом, выражало ясную радость. Виктор пошел вдоль стены за ней, стараясь не терять ее из виду, что было довольно трудно: толпа танцующих росла, как снежный ком, принимая все новые и новые пары. Виктор полагал, что вскоре танец кончится и у него появится возможность подойди к ней, но, как только в последний раз ударил барабан, означая конец, оркестр тут же без всякой передышки, а как бы даже радуясь этой непрерывности, заиграл что-то новое, и девушку увлекли куда-то вбок, заслонили спинами, локтями, затылками — и она пропала. И пока он беспомощно озирался по сторонам, уже стоя не у стены, а среди танцующих, на краю образованного ими круга, не пытаясь пока проникнуть в его середину, но уже всем мешая, его увидела Лена. Она оставила своего опешившего партнера и протиснулась к Виктору сквозь толпу.

— А я тебя сразу не узнала! — она говорила быстро, весело. — Смотрю — побрился!

— Меняю облик, путаю следы. — Виктор был рад ей, но говорил сдержанно.

— Я думала — ты взрослый мужик, а ты! Ты с какого года?

— С тридцать четвертого.

— Врешь! — Она махнула рукой, и его снова удивила плавность ее движений.

— Какой смысл? — спросил он.

— Смысла, правда, никакого, — согласилась она. — С тридцать четвертого — это ничего. Где же сидишь?

— Нигде, — сказал он, чувствуя, что его губы сами по себе растягиваются в улыбку.

— С нами устроишься, — сказала она.

— Да я эту пьесу видел. И читал — очень давно.

— А зачем пришел? Хотя — ты поверишь? — я знала, что придешь! Я даже загадала! Ты когда у театра пропал… А куда ты пропал? — вспомнила она вдруг.

— Дела, заботы.

— А что мы так стоим? Только людям мешаем.

Она взяла Виктора за руку, и они присоединились к танцующим.

— Ну вот, — продолжала она. — Ты пропал, а я себе говорю: ничего, придет — не пропадет. И загадала!

Она, улыбаясь, смотрела на Виктора. Они танцевали в толпе.

— А ты что так рада? — спросил Виктор.

— Не знаю. Я уже об этом подумала. Тебя увидела и думаю: что это за такая замечательная личность, если я ему так рада? Кто он? Понятия не имею. А рада.

— Вот эта доверчивость тебя и погубит, — сказал Виктор.

— Пускай губит. Я согласна.

— Коня на скаку остановишь? — спросил Виктор.

— Что? — Лена весело посмотрела на него.

— Я серьезно спрашиваю. В горящую избу войдешь?.

— Не пробовала. — Лена смотрела на него радостно.

— Понимаешь, мне это важно знать. Ну, как анкетные данные.

— Ну если у тебя есть конь и избы не жалко, проверяй, — сказала она.

— Коня нет. Избы не жалко, но ее тоже нет.

— На нет и спроса нет. А ты мне правда нравишься.

— Это только сначала, а потом все по-другому.

— Потом — не сейчас! Потом — еще когда будет! А может быть, его совсем не будет, или я до него не доживу, или ты не доживешь. У меня дядька был, все грозился: «Я вам покажу! Вы меня узнаете!» А ничего не показал. Всю жизнь прожил хорошим человеком, так и помер.

— Долго хоть он жил? — спросил Виктор.

— Дядя? Долго, у нас все долго живут.

Занавес пошел в разные стороны, разъединившись на две половины и открывая сцену, приготовленную для третьего действия «Вишневого сада».

В зале смолкли последние покашливания, скрип кресел и тот сдержанный гул, которым наполнен театр.

Люстра под потолком медленно гасла.

(Происходящее на сцене лишь косвенно связано с нашим повествованием. Выбор текста «Вишневого сада» поэтому ничем не ограничен. Он может быть любым.)

На сцене была гостиная, там горела люстра, играл оркестр где-то невдалеке, и уже начались разговоры действующих лиц.

Зрители постепенно втягивались в развитие сюжета, который остановился двадцать минут назад и был прерван танцами, но это перемещение во времени нисколько не мешало им снова войти в мир героев пьесы.

Виктор занял место Лены, а она примостилась между ним и подругой на уступе между двумя креслами, который выдвигал ее несколько вперед. Эта подробность важна тем, что Виктор, не поворачивая головы, мог постоянно видеть Лену перед собой и не стараться особенно наблюдать за происходящим на сцене.

Впрочем, он и не старался.

До него лишь доносились реплики, обрывки фраз, к ним он тоже особенно не прислушивался.

Он ничего не ждал от этой встречи, но ему было интересно, как все пойдет дальше. Во всяком случае, никто с ним подобным

образом никогда не разговаривал, и уже в этом был свой интерес. Интерес был и в том, что девушка была красива, а он, по его твердому убеждению, имел вполне обыкновенную внешность. Правда, он был рослым, а профессия, которой он занижался, сделала его физически крепким человеком, но в пределах самых общепринятых.

Он смотрел на девушку, думая примерно об этом. Потом Виктор заметил двумя рядами дальше еще одну девушку, тоже красивую, как ему показалось, и некоторое время смотрел на нее, не сравнивая, бесцельно.

А Лена тщетно пыталась смотреть и слушать пьесу. На сцене велись такие разговоры:

— Потерял деньги! Где деньги? Вот они, за подкладкой… Даже в пот ударило!..

— …Дуняша, предложите музыкантам чаю!..

— Торги не состоялись, по всей вероятности.

— …Вот вам колода карт. Задумайте какую-ни-будь одну карту.

— Задумал.

— …Теперь поищите. Она у вас в боковом кармане…

— Восьмерка пик, совершенно верно!..

— …Какая карта сверху?..

— …Туз червовый!

— …Браво!

— …А Леонида все нет…

— …Ярославская бабушка прислала нам пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя…

Лена обернулась. Виктор смотрел прямо на нее.

— Ничего не понимаю, — сказала она. — Все слова мимо летят. Какие-то долги. Ярославская бабушка.

— Пошли отсюда. — Виктор взял ее за руку и пошел вдоль бесконечного ряда.

— Лена, ты куда? — вздрогнула подруга, давно предвидевшая такой оборот событий. — Номерок у меня!

Лена и не обернулась. Согнувшись чуть, как это делают, выходя из кинозала во время сеанса, как бы боясь войти в луч прожектора, они прошли весь ряд, стараясь по возможности не тревожить его, но, как это всегда бывает, ряд пришел в волнообразное движение, затухающее там, где их уже не было, и немедленно возникающее снова.

Мимо контролера — и в дверь.

А позади — смех и аплодисменты, и Лена в последний раз, уже в дверях, обернулась, чтобы посмотреть, в чем там дело, что происходит, почему смеются, а посмотрев, ничего уже не поняла

и пошла прочь.

Они вышли из аплодирующего зрительного зала в примыкающий к нему зал.

Здесь в полутьме бродили не занятые работой музыканты и те немногие зрители, которые променяли окончание «Вишневого сада» на эту полутьму, расположившись с удобством за буфетными столиками, вполголоса разговаривая о чем-то совершенно постороннем происходящему там, за дверями, на сцене.

Оглядевшись, Виктор повел Лену не к столикам, а в дальний угол зала, где начиналась лестница, идущая наверх, а куда она вела — он и сам не знал, но пошел к ней уверенно и увлек за собой Лену.

Она, не задумываясь, следовала за ним. Он даже за руку ее не вел: сама шла послушно.

А лестница упиралась в тупик, в чердак, может быть, в его запертую железную дверь.

Еще не зная, чем все это может кончиться, действуя не по определенному плану, а подчиняясь целиком внезапности ситуации, Виктор повел Лену наверх, не говоря ни слова, но уже крепко держа ее за руку.

Она следовала за ним.

Но лестница кончилась. Оставаясь теперь вдвоем на площадке, освещенной едва-едва, они обнялись с поспешностью и простотой, которая исключала слова и объяснения.

Но, поцеловавшись, они должны были все-таки сказать какие-то слова, необходимые в таких случаях, или же что угодно, но он не знал, что именно ей говорить, и молчал, полагая, что решительность действий может заменить любой диалог.

Виктор снова поцеловал ее, думая, что она сейчас что-нибудь скажет, но она ничего не говорила, а лишь смотрела на него ясно и прямо.

— Ну что? — сказал он, лишь бы что-нибудь сказать. — Бежим?

— Куда? — спросила Лена.

— Куда прикажешь, в любом направлении.

— Я бы с тобой куда угодно поехала. Хотя уезжать мне отсюда совсем ни к чему.

— А что тебя держит? — он спрашивал просто так, не слушая, что она ответит.

— А ты действительно мог бы со мной уехать? — спросила она.

— А почему нет? — Он обнял ее. — Я свободный человек.

Одинокий молодой специалист.

— А какая у тебя специальность? — Она спрашивала совершенно серьезно.

— Инженер.

— Значит, ты учился. А я даже школу не кончила. У меня восемь классов.

— Мало, — сказал он, целуя ее.

— Я рано пошла работать. Маляром работала на строительстве, штукатуром. Потом замуж вышла. Он неплохой был человек, я не жалуюсь. Все ему прощала.

— Значит, любила, — сказал он, не задумываясь.

— Верно, — согласилась она, — любила. Пил — прощала. Бывало, что и домой не приходил, — прощала.

— Ну и жизнь. — Виктор обнял ее. — А он что, умер?

— Почему?

— А ты о нем все в прошедшем времени: «пил», «домой не приходил».

— Да нет, он живой. Скучный он человек. И неглупый, а скучный.

— Вот все вы так. — Он обнял ее. — Скучный. А что в тебе веселого? Один нос, — он пальцем прикоснулся к ее вздернутому слегка носу. — Нос веселый, глаза невеселые — старая история. У Гоголя какой нос был? А грустил. А зачем ты все это рассказываешь?

— Не знаю. Захотелось тебе рассказать.

— Почувствовала ко мне расположение?

— Считай, что так.

— Я тоже. Я бы тебе сам что-нибудь рассказал, но ничего интересного в голову не приходит.

— Ты поверишь, я все могу, я очень самостоятельная, и мы так трудно с мамой жили — нас пять дочерей было, — что мне ничего не страшно. А вот жить пустой жизнью страшно. Спать, есть, пить, деньги зарабатывать на то, чтобы есть, спать, пить, и больше ничего.

— Я тоже так считаю. — Виктор поцеловал ее. — Главное — это искать что-то светлое, правильное. А то потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. — Виктор подумал немного и добавил: — Никогда не нужно бояться начать свою жизнь заново.

— Верно. — Она улыбнулась. — Встретить надежного человека, товарища. И жить чисто, умно, долго.

— Да, — согласился Виктор. Прислушиваясь к тому, что внизу в зале уже начался перерыв, уже зажгли свет и доносились голоса, он заговорил торопливо, излагая главное: — Бывает же так: встретятся два человека, вчера еще чужие, незнакомые, а

сегодня они уже близкие люди, а завтра — родные. В принципе все люди — родственники. А жизнь состоит из поступков, которые мы совершаем или не совершаем, а потом жалеем об этом, но уже поздно. Встретил человека — он тебе понравился. Догони, останови. Может быть, это судьба.

— Верно, все верно! — Лена говорила горячо. — Все, что ты говоришь, я сама об этом думала. Я понимаю, что жизнь сложная, но люди и сами ее усложняют. Я вот, я тоже — усложняла, усложняла. А вот встретила тебя: ты какие-то говоришь слова простые, умные. Ты и вправду хороший человек? Чего ж мне тебя терять? Я где-то читала, в какой-то книжке или в журнале: человек должен быть свободен в выборе своего счастья.

— Но не опрометчив, — сказал Виктор.

— Вот я к тебе приду — ты меня действительно заберешь? Ты не сболтнул сгоряча? — продолжала Лена. — Хотя ты же трезвый, глаза у тебя трезвые, в словах не путаешься. Заберешь?

— А почему нет? — Виктор обнял ее.

— Но ты же меня не знаешь!

— А кто кого знает? Ты сама себя знаешь?

— Не совсем. Иногда кажется, что знаю хорошо. А потом вдруг что-то такое завернется — смотришь на себя со стороны: я это или не я? — Лена улыбнулась. — У тебя бывает?

— Постоянно. — Виктор поцеловал ее.

Внизу громко заиграл оркестр.

— Пошли на улицу? — предложил Виктор. — А то здесь по-человечески и не поговоришь.

— Мне только номерок забрать.

Лена смотрела на него влюбленно.

6

Они спустились в зал, где уже вовсю развернулись танцы, ярко горел свет, и было шумно, весело, многолюдно и царило то оживление, которое свойственно молодым людям, просидевшим молча минут сорок, а теперь стремящимся восполнить это вынужденное, хотя и полезное бездействие разговорами, смехом.

И у буфета уже толпились, собирались у столиков.

— У кого номерок? — спрашивал Виктор, проводя Лену через толпу.

— Вот и смотрю. У подруги. Она рядом сидела. Не запомнил? Она ничего, — весело говорила Лена.

— Я на тебя смотрел.

— Правильно. Вот так всегда и делай. Ни на кого больше,

только на меня. А я — на тебя.

— Лена, можно тебя пригласить?

Перед ними появился человек в курточке.

— Вот как он прикажет, — Лена показала на Виктора.

— А кто он такой? — Паренек с интересом посмотрел на Виктора. — Что-то его не знаю. Так пошли?

— Иди, — сказал Виктор Лене. — Может, твоя подруга в самой глубине танцует. — Он показал на зал, заполненный парами.

— А ты?

— А я посмотрю.

И снова те же танцы.

Как и в первый раз, в тот самый первый, когда он прорвался чудом в театр, Виктор видел вначале ее лицо, появляющееся в толпе и исчезающее внезапно за спинами, затылками, локтями, лицо ее, сохранившее еще состояние, вызванное их разговором и повторившееся в той же прелести и чистоте, в сверкании белоснежного воротника, в поворотах ее вслед за тем, кто ее вел среди танцующих.

И Виктор, уже не отдавая себе отчета в том, что сейчас он должен быть сдержанным, повелительным, а она, повинуясь ему, бежать за ним, вот все это понимая, он пошел вдоль стены, стараясь не потерять ее, но он терял ее ежесекундно — и потерял.

Когда в этой непрекращающейся музыке наступил перерыв и толпа схлынула, постепенно, не сразу очищая зал, он долго стоял и ходил, рассматривая окружающих, появлялся в зале, спускался к вешалке.

Но ни к чему это не привело.

Дождавшись звонка, он заглянул в зрительный зал, вспомнив то место, откуда они уходили.

Лены там не было, а уже начиналось последнее действие, уменьшался свет, занавес пошел в разные стороны, в зале стоял приглушенный шум, который благодаря хорошей акустике напоминал шум моря, например, или раковины, приложенной к уху.

Виктор вышел в фойе. Столики, столики — сколько их!

И уже пустые, мраморные, и лишь кое-где за ними располагаются, торопясь, последние посетители. А рядом происходит у всех на глазах грустное зрелище: музыканты укладывают инструменты в чехлы, застегивают «молнии», кнопки и пуговицы, сворачивают листки нот, переговариваются, а кто-то уже в пальто. Но рояль еще не закрыт, потому что перед ним стоят молодые люди и один из них, явно принадлежащий не к числу музыкантов, а к числу тех, кто не досмотрел пьесу или же

сейчас пойдет ее досматривать, но опоздал, сидит за роялем, поет что-то, что его товарищам исключительно нравится, они не отходят от него.

Но пел он негромко, понимая важность происходящего невдалеке, за дверью, да и громко, наверное, он петь бы и не стал.

Вот, кончая это, я хочу написать, как они стояли вокруг рояля — локти на крышку, лица серьезные, славные, а что уж говорить о старательности, с которой они были одеты, о белых их рубашках, о воротничках, накрахмаленных туго, режущих, должно быть, их молодые шеи.

Это подробное описание занимает в нашей истории очень небольшое место, поскольку все это видит наш герой, проходя по пустеющему залу в поисках Лены. Ему-то нет никакого дела до этих песен и до этих ребят.

Виктор подошел к столику в буфете.

Открыл бутылку пива. Настроение у него было неважное. Он и сам в точности не мог бы объяснить, что с ним происходит. Его стремления были самые простые, обыкновенные, но, встретившись с девушкой, он что-то был вынужден придумывать, чего он раньше не делал, но понимал, как это делают другие, если будет такая необходимость.

— Слушай! — позвал его кто-то.

Он обернулся и увидел парня своего возраста, сидевшего за столиком. Парень был светловолосый, крепкий, в темном (выходном) костюме и при галстуке.

— Что? — спросил Виктор.

— Можно тебя на минутку?

Виктор подошел, сел.

— Ну? — спросил Виктор, продолжая думать о своем.

— У тебя какой-то вид малахольный, — сказал парень очень просто и с участием. — Может быть, тебе помочь надо? У тебя такой вид, как будто ты деньги потерял.

— Похоже, да?

— Прямо на лице написано. Пива еще хочешь?

— Да я и сам возьму.

— Выпей, пока принесут. — Парень налил пива в чистый стакан. — А что, много было денег?

— Да нет, какие деньги. — У Виктора вдруг пропала охота к веселым разговорам. — Познакомился тут с одной. Все так хорошо пошло, а она пропала.

— Жалко, — посочувствовал парень. — Хорошая девушка?

— Да. Правда, какая-то ненормальная или работает под ненормальную.

— Завтра найдешь, — успокоил парень. — Тут у нас все на

виду.

— Да я завтра уезжаю. Я проездом. Три месяца был в экспедиции, и вот в первый же вечер такая идиотская история.

— Три месяца. А я смотрю, чего это у тебя такой глаз тревожный. — Парень улыбнулся. — Едешь в Москву?

— В Куйбышев, домой, — сказал Виктор.

— В Куйбышеве во время войны был, в эвакуацию, и то на товарной станции. Хороший город?

— Ничего.

— На реке стоит: наверно, хороший. А у меня тоже настроение неважное. Люблю одну женщину, она сейчас в зале сидит, — парень говорил спокойно. — Я ее как увижу, мне все время напиться хочется, хотя я вообще не пью.

— И часто ты ее видишь? — спросил Виктор.

— Слава богу, нет, а то бы спился.

— Что, красивая? — спросил Виктор без особого интереса.

— Красивая, — серьезно ответил парень. — Я, главное, понимаю, что она в этом не виновата: такой уж ее папа с мамой сделали, но мне ее красота как в наказанье. Лучше бы она похуже была, а у нее античное лицо.

— Откуда ты знаешь?

— Сама сказала. А у меня видишь какой нос?

— Нормальный нос. — Виктор улыбнулся, парень ему нравился.

— А ты не хочешь выпить? Серьезно? — спросил парень.

— Да нет, не стоит мне пить. А почему ей твой нос не нравится?

— Не знаю. Но дело не в этом. Мне кажется, я с самого начала допустил просчет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, а я ее меньше любить не могу. Я уже потом пытался. Делал вид. Три дня не звонил и вообще избегал.

— Помогло?

— Конечно, нет. Я уже думал: ну вот что нужно сделать, чтобы тебя полюбили? Стать знаменитым человеком? Прославиться в какой-нибудь области? Подвиг, наконец, совершить? Но ведь вокруг живут миллионы незнаменитых людей, а их любят! За что, спрашивается? И чем я хуже их?

— Ничем. А что, если тебе плюнуть на это дело?

— Не могу. Люблю. Умом понимаю, а не могу. Я для нее на все готов. Кроме того, что мне напиться хочется, когда я ее вижу, у меня еще внутри все как-то обрывается. А она мне говорит: «Ты мне, Сережа, нравишься, но я только начинаю жизнь, и, может быть, я потом еще лучше тебя кого-нибудь встречу». Знаешь, я все-таки возьму «Российского». — Парень встал.

А через короткое время, наполняя стакан, он продолжал:

— Когда она мне это сказала, я — ты поверишь — решил застрелиться. Зачем мне жить без нее? Она, может быть, и встретит потом кого-нибудь, но я-то уже никого не встречу! Только из-за матери передумал. Она столько пережила: отца на войне убили, брата, а тут еще я бы.

— Дурак ты все-таки, — сказал Виктор.

— Сам знаю, — согласился парень. — А у тебя такого никогда не было?

— Не было. У меня намерения всегда очень простые, понятные, — сказал Виктор.

— Счастливый человек, — сказал парень.

А между тем в зале, от которого беседующих отделяла полутьма фойе, уже раздались аплодисменты, должно быть, заключительные.

А через некоторое время фойе наполнилось толпой, часть из которой направилась вниз, торопясь протиснуться к своим пальто и плащам, а другая часть, менее значительная, все еще толпилась между колоннами, ожидая чего-то, хотя ожидать было совершенно нечего — все уже кончилось на сегодняшний субботний день, и оставалось всем только идти домой, но, однако, люди расходились медленно, переговариваясь, рассматривая картины, развешанные здесь, диаграммы и стенды с фотографиями.

Виктор сразу же потерял своего случайного собеседника, хотя некоторое время тот стоял с ним рядом, наблюдая за толпой, но мысленно он уже был не с ним, да и не только мысленно — всем своим существованием был там, где он предполагал ее увидеть, а потом уже пропал совсем, устремившись в толпу.

Виктор на короткое время увидел эту девушку, не такую, конечно, красивую, какой она представлялась в недавнем рассказе, но все же привлекательную своей юностью, какой-то кофточкой в полоску, темной челкой, движением плеч, поворотом головы, улыбкой и всем, что человеку постороннему кажется обыкновенным, но значит очень много для заинтересованного лица, то есть я хочу сказать, что Виктор очень хорошо понимал это, наблюдая за тем, как его собеседник разговаривал с ней в толпе, и за тем, какое смятение охватило его, когда он выслушивал все, что она говорила, не задумываясь ни на секунду над действием своих слов, а Виктор мог себе представить, что она ему могла сказать.

Посмотрев в последний раз вокруг и уже не надеясь найти Лену, Виктор оделся и вышел на улицу.

За те три часа, пока он смотрел (и не смотрел) «Вишневый сад», улица изменилась удивительно: выпал снег. Он и сейчас еще летел, тихий, густой, — хлопья, как на ниточку нанизаны, в темном воздухе висят. Все сразу потеплело, побелело, улучшилось, приобрело гармонию и ясность, которой обладает зима в отличие от переходного времени, когда по причине наступающих холодов дожди кончаются или же моросят лениво, вполсилы, понимая свой конец, но, поскольку снега нет, не выпал еще, не повалил, — приходится моросить, портить людям настроение и обувь.

Но сегодня, в день холодный и светлый, в последний настоящий, не приукрашенный ничем осенний день, должен был выпасть снег, все уже готово было к тому, что он выпадет. И он выпал, упал на землю и леса, на фонари. и крыши. Ах, зима! Самой природой отпущенное счастье дышать твоим воздухом, колким, чистым, скрипеть твоим снегом, следы оставлять, просыпаться морозными утрами, чувствуя во всем здоровье и молодость, пока есть они, или же другую, неизведанную радость, которая, может быть, и не совсем уже и радость, но что-то появляется в глазах, спокойных, обращенных скорее в прошлое, нежели в будущее, что-то появляется в них на мгновение светлое, и хотя слово это выражает немногое, но, освещенные вдруг, глядят человеческие глаза на падающий снег, запоминая его или же вспоминая что-то свое, приветствуя его и прощаясь одновременно.

Все эти возвышенные мысли не появились сразу в голове нашего героя, но что-то все-таки появилось, что-то растрогало его и смутило во всех происшествиях этого вечера — в разговорах, в странности встречи, которая не кончилась ничем и этой своей незавершенностью и неопределенностью оставила его в недоумении. А он по своему характеру любил в жизни и в поступках окружающих людей именно определенность и законченность; а тут еще снег, выпавший так внезапно, да еще в сочетании с бутылкой российского и разговорами о любимой женщине, — все это оказало на него прямое действие, поскольку он был человек еще молодой и хороший.

Даже напевая что-то или же насвистывая, он шел под падающим густым снегом, не заботясь застегнуть куртку и без кепки.

Уже наступала зима. Городской воздух был именно зимним воздухом, и ни с каким другим его уже невозможно было спутать, если даже вообразить себе такую странную ситуацию, что вот некий человек, не выходивший на улицу год, вышел, наконец,

обнаружил на ней чистейший снег, летящий к тому же и с неба, — так вот даже этот отшельник ни на минуту бы не усомнился, что все-таки наступает зима.

Снег летел бесшумно, медленно, при ярком свете луны, окруженный ореолом, возникшим не в результате ее гордости, а как следствие простых законов преломления света, идущего к земле сквозь все пространства этой ночи.

Виктор прошел по улице — и не слишком далеко — в окружении каких-то рядом идущих веселых молодых людей; они лепили этот снег, покров которого был невелик, кидались им, сотрясали деревья, вызывая снежные лавины, ниспадающие с веток на землю, на головы и воротники, на лица девушек, обращенные к летящему снегу.

А Дом приезжих был уже близко, и Виктор вошел в него, оставив позади смех, улыбки, шум и говор, снег, лунную ночь, и очутился в длинном коридоре, едва освещенном двумя лампочками, находившимися в противоположных концах.

7

Продолжением этой ночи — хотя какая это ночь, еще и полночи не пробило — будет та же история, но теперь ее поведет Лена, исчезнувшая так внезапно и в самый разгар начинающихся событий.

Итак, все прежнее: луна, снег, остановившиеся под снегом деревья. Все замерло, все оснежено и чисто.

Город на окраине, уже похожий на деревню.

Дома деревянные, с огородами, которые подразумеваются в этих разделенных оградами участках, белых от выпавшего снега, — доски чернеют.

Лена постучалась в темное окно одного из таких домов.

Дом этот представлял из себя избу, увенчанную, однако, крестом телевизионной антенны.

В доме было действительно темно, а телевизор работал.

Передавали последние известия, дикторша говорила о событиях у нас и за рубежом, а в конце пообещали на завтра хорошую погоду.

Перед телевизором сидела старая женщина, бабушка, должно быть. На стук в окно она живо среагировала и, не выключая телевизора, направилась прямо к двери.

На пороге они обнялись.

— Бабушка, — говорила Лена, проходя в дом, сдернув на

ходу платок. — Ну как ты? Что? Что нового? — Вопросы ничего не означали и не требовали ответа.

Посреди комнаты они остановились уже при зажженном свете, похожие чем-то, стройностью, что ли, которую одна не утратила с годами, а другая недавно приобрела, выбравшись из неуклюжести девичества.

— Бабушка! — Лена обняла ее, помолчала и сказала вдруг твердо: — У меня к тебе важное дело.

— Откуда ты взялась? — Бабушка смотрела на нее весело.

— Вот взялась.

— У матери была?

— Не была. Знаю — все здоровы! Бабка! Плохие дела, а может, и хорошие! Помоги!

— Чем?

— Слушай, не перебивай! — Она ходила по комнате. — Перебьешь — не вспомню! Не так скажу, не то! Я встретила одного человека, он нездешний, а здесь проездом. Он очень хороший человек, душевный, добрый, веселый. Я таких не видела и не увижу! Мы с ним долго разговаривали обо всем. Он мне говорит, а я его понимаю, как будто это я сама говорю! Он сказал: человек создан для счастья, и главное — это искать в жизни что-то светлое, настоящее, чтобы потом не было стыдно за свою жизнь! Вот тебе не стыдно, а сколько ты прожила! И еще он говорил, что все люди как родственники: встретились два человека, вчера еще чужие, незнакомые, а сегодня они уже близкие люди, а завтра родные — ничем их не разгонишь! Он с тридцать четвертого года. Говорит, что холостой, и я ему нравлюсь: предлагает уехать.

— Куда же уехать?

— Не знаю, завтра спрошу. Бабушка, а вдруг это судьба? Откажусь, испугаюсь, отмахнусь — все пропадом. Человек хороший, жалко потерять!

— Сны были? — просто спросила бабушка.

— Были какие-то. Не помню. Что-нибудь про работу. Доругивалась с кем-то.

— Теперь многим собрания снятся. Яблоки — к деньгам, лошади — ко лжи, медведь — к свадьбе, сапоги — к дороге. А к чему бы собрания? Не знаю.

— Хочу, чтобы он остался, не пропал. Хочу, чтобы он полюбил меня и всех моих родных. Хочу, чтобы он не изменился ни в какую сторону: если к лучшему — я буду для него не слишком хороша, а к худшему — не надо. А не слишком много я хочу?

— Нет, в самый раз, — сказала бабка.

— Ну как мне ему объяснить, что он мне нужен, а я ему?

— Жалко, — сказала бабка.

— Что жалко?

— Что ты некрещеная!

— При чем тут крещеная, некрещеная!

— А может и не подействовать, если некрещеная, — бабка говорила серьезно, но глаза у нее были молодые, несерьезные.

— Ты толком говори! Без загадок! — Лена была не склонна сейчас к шуткам.

— Надо его заколдовать, — бабка говорила деловито. — Как его зовут?

— Не знаю, — тут же улыбнулась Лена.

— Плохо, — сокрушалась бабка, сохраняя серьезное выражение лица. — На каждое имя свой наговор есть. А как же так: имя не знаешь?

— Узнаю.

— Узнать-то узнаешь… — Бабка обошла стол, раздумывая. — Темный или блондин? — Вопрос был задан стремительно.

— Темный, — улыбнулась Лена, не понимая еще, к чему клонит бабка и насколько серьезна она или же, как это уже не раз бывало, занимается очередной своей мистификацией.

— Попробовать-то можно, — бабка задумалась. — Но без имени — не ручаюсь.

— Значит — не ручаешься?

— Нет, — решительно сказала бабка. — Без имени лучше и не пытаться. Лошадь без имени заговорить можно, но ведь и у лошади имя есть.

— Да не верю я в это.

Лена махнула рукой, прекращая начатую было игру.

— Ну почему же, — бабке кончать игру вовсе не хотелось, она только еще входила во вкус. — А все время верить не надо. Сегодня тебе нужно — поверь, а завтра обратно выпишись. Я сама так делаю, а то ходишь под богом, как под пистолетом. А колдовство — это же как гипноз, а гипнотизеры — все колдуны, только у них на это дело разрешение есть — диплом, бумага. Вся и разница. Попробуй — вдруг поможет, рискуй. У тебя душа чистая, хоть нет на тебе креста. Мысли у тебя ясные, желания простые. Он где ночует?

— В Доме приезжих. Больше негде.

— Спит?

— Откуда я знаю? Спит, наверное. Он с дороги. Ну, и что мне предлагаешь над ним сказать? — Лена улыбнулась.

— А что хочешь, то и говори! — весело сказала бабка.

— Как же так? — усомнилась Лена. — А если по правилам?

— Какие правила! — решительно сказала бабка. — Лишь бы все было от сердца, а молитву ты все равно не запомнишь!

— А сама ты ее знаешь? — снова усомнилась Лена.

— А. как же не знать! Я все молитвы знаю! — Она сделала паузу. — Все тридцать пять! — Число прибавляло ее заявлению серьезность, и все.

— Почему тридцать пять? Что за цифра? Я слышала, их тридцать шесть, — сказала Лена.

— А я говорю тридцать пять! — не сдавалась бабка.

— А мне знающие люди говорили — тридцать шесть. — Лена и не улыбнулась. — Очень серьезные люди. Из бывших, между прочим, священнослужителей.

— Не верь расстригам! — Бабку было не так просто поколебать. — Тридцать пять! Вот тебе крест — тридцать пять! И все знаю наизусть! Погоди. — Бабка удалилась в другую комнату, чтобы не продолжать спор, и вскоре вернулась с небольшим пузырьком в тряпочке. — Вот, возьми.

— Что это? — спросила Лена.

— Святая вода, — сказала бабка с твердостью.

— Какая вода? — переспросила Лена.

— Святая, — бабка настаивала на своем.

— Ну, так уж и святая.

— А вот так. Святая, и все, — веско сказала бабка.

— Откуда она у тебя?

— Держу на всякий случай. — Бабка потрясла пузырек перед лампой. — Мало ли что. Но ты его все-таки обрызгай хоть чем, хоть из графина. Там по комнатам везде графины.

— Бабка! — Лена с нежностью обняла ее. — Какая из тебя колдунья!

— Пусти! — Бабка притворялась рассерженной. — Пусти, сломаешь! И волос у себя и у него отрежь — самый конец.

— Да не может быть! — Лена не отпускала бабку. — Это тридцать первая молитва или тридцать вторая? — Она поцеловала ее. — Или ты сама придумала?

— И с ладони сдуй в окно! — не унималась бабка. — Вдруг и вправду хороший человек, а ты его по глупости потеряешь. Любишь его?

— Люблю.

— И люби и держись за него. Да пусти же ты, наконец!

Провожая Лену в дверях, бабка сохранила строгое, я бы сказал, неприступное и даже несколько торжественное выражение лица.

Она сохраняла эту серьезность и когда вслед за Леной вышла из дома во двор, без платка, в чем была.

Но когда Лена уже пересекла двор и закрыла за собой калитку, а бабка осталась наедине с собой, она не выдержала и широко улыбнулась, глядя вслед уходящей девушке, и улыбка у нее была молодая и добрая, точно как у самой Лены.

8

И вот тот же город, только уже ночь.

Ветер по нему пошел, низкий, поднимающий с земли снег, резкий, а город уже пуст. Рано ложатся спать. А если не ложатся, то на улицы выходить нет никакого желания. Пустой город, снег, ночь лунная. Ясная она была бы, если бы не тучи, летящие над головой, разорванные, распластанные, с отходящими в стороны рукавами, рвущимися под ветром, уносимыми бог весть куда.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
Тот, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя, —

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

…Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей, —

пела это Лена, шагая по улице от своей бабушки, а настроение у нее было смутное, но во всем была ясность: она любит, она уже выбрала окончательно, все решила для себя и поет на какой-то непонятный мотив, то ли выдуманный сейчас, то ли повторяющий что-то уже известное, но слова те же самые — тревожные, единственные, и ложатся они так на ее настроение, что иначе она бы и сама не сказала, не спела, не проговорила, успокаиваясь от этих слов, как от собственных, сочиненных для такого момента:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит…

Ноги вели ее, пока она пела то вполголоса, то в полный голос, и привели ее к Дому приезжих.

Прошла она свободно. Двери были не заперты, а охранник спал, именно охранник, швейцаром его назвать неудобно, ибо какой он швейцар — в старом ватнике, в валенках, в шапке, завязанной на тесемки, чтобы уши не слышали, и с опущенным вниз козырьком, чтобы глаза не видели.

Спал он мирно, и сон его был сладок: он не проснулся оттого, что скрипнула дверь, глаза не приоткрыл, руку не поднял, власти не показал, а мог бы.

Лена благополучно его прошла и очутилась в длинном коридоре, освещенном, как уже рассказывалось, двумя слабыми лампочками в противоположных концах.

Скрипели половицы, рассохшиеся не от старости, а оттого, что их только что поставили. Следовательно, они скрипели от молодости.

Всего комнат было немного: пять, может быть, или шесть. Но они, конечно, предназначались не для странствующих одиночек, а для многих сразу, для тринадцати, например, человек, а то и больше. Но сейчас комнаты были пусты. Двери не запирались. Лена свободно заходила в них.

Она шла по коридору мимо раскрытых дверей, из которых лунный свет ложился на пол, однообразно повторяя оконные переплеты, форму занавесок, через которые он проходил.

Луна была ослепительная, хотя тучи мешали ей выступить в полном блеске своих потухших кратеров, лунных долин и морей, отражающих к нам солнечный свет в таком славном таинственном качестве.

Лена вошла в комнату, которая показалась ей пустой по первому ощущению. Она никого не увидела в ней, и это остановило ее в дверях.

Была та же луна в окне, ровные ряды коек, аккуратно белеющих несмятыми подушками с подвернутыми углами и простынями — они были сложены поверх одеял способом «конверт».

Лена, не надеясь ни на что, прошла по этой большой комнате к окну, касаясь автоматически шариков, привинченных к кроватям, холодных, отполированных, и в самом конце, у окна, заметила спящего человека.

Это спал ее знакомый, подложив под голову одну из подушек соседней кровати. Спал, глубоко провалившись в сон, повернувшись щекой влево и открыв рот, что, конечно, было не слишком красиво, но таков был он во сне.

Лена походила вокруг, разглядывая, как он спит, какое у него при этом лицо, какой он в эти часы, когда он уже не управляет собой, побежденный свалившимся на него сном.

Лена улыбнулась, закрыла дверь, не просто закрыла, а на крючок. Сбросила пальто. На столе стоял графин с водой, совершенно обыкновенный графин. Лена налила воду в стакан, выпила сама немного, а потом прыснула на голову Виктора, как это делают, гладя белье.

Виктор заворочался во сне, но не проснулся.

Лена села на кровать рядом.

— «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», — сказала она. — Господи, если ты есть, а если тебя нет, в чем я не сомневаюсь, хотя и думаю, что есть, должно быть что-то, что заменяет тебя, но говорю тебе сразу, чтобы ты на меня не обижался: Земля круглая, а не плоская и не на китах. Так, что ли? Так. Господи, если ты человек, помоги мне. Вот он спит, как бревно. Штаны на полу валяются, — она подобрала их, свернула. — А я его люблю. Господи, если ты можешь превращаться, то превратись в мою бабушку — мне с тобой будет легче разговаривать. Я думаю: заслуживаю ли я счастья и какие у меня грехи? Я работаю с четырнадцати лет, сама себя кормлю и помню сестер и мать. Довольна ли я своей жизнью? Нет. Есть ли грех в недовольстве своей жизнью?

Не знаю, но я хочу быть счастливой, а пока этого нет, не получается. А я хочу, чтобы получилось!

Лена встала, подошла к окну, распахнула его. Снег полетел в комнату.

— Я, как говорится, некрещеная, креста на мне нет, но помоги, если ты можешь, помоги мне — оставь его со мной! Он мне нужен, необходим! — Виктор проснулся, но глаза не открывал, с некоторым испугом слушая, что говорит Лена. — Тебе это ничего не стоит, если ты такой всемогущий, а для меня

это важно. Я к тебе никогда не обращалась и больше не обращусь — помоги один раз, если ты есть.

Волосы у нее свободно лежали на плечах, и она решила их собрать, глядя, как в зеркало, в оконное стекло.

Гребенка под рукой, взмах вверх — вниз, плавно, до конца, до кончиков волос, белеющих под луной, совершенно белых, распрямляющихся под гребенкой, потрескивающих чуть от действия электричества, возникающего неизвестно каким образом от простой гребенки и женских волос.

Причесываясь, Лена еще раз поглядела на себя, повязала платок, накинула пальто, поправила одеяло на Викторе — он не спал, но делал вид, что спит, — и вышла осторожно из комнаты, не забыв прикрыть дверь, но окно осталось открытым. Лицо ее при этом сохраняло выражение полного покоя и радости.

Как только дверь закрылась, Виктор сел в кровати.

Благодаря чрезвычайно яркому лунному свету можно было рассмотреть и его лицо, выражение которого было совершенно иным, чем у Лены.

Недоумение, испуг, настороженность, ожидание чего-то более худшего, чем то, что произошло здесь, и чего-то еще более неприятного и непонятного — все это было на его лице.

Посидев некоторое время, он встал, зажег свет, озарив единственной лампочкой все тринадцать пустых незанятых коек, белеющих подушками и простынями.

Набросив одеяло на плечи, он босиком подошел к окну, плотно закрыл его.

На подоконнике, на полу у батареи белел снег.

Занавески, которые колебались под ветром, реяли и взмывали, теперь сникли, вытянулись вдоль окна, покорные, белые.

Виктор прошел к умывальнику, сохраняя все то же выражение лица. Выпил воды из крана, посмотрел в зеркало.

Ну и заспанное было у него лицо! Ни одной живой мысли: сплошное недоумение, испуг.

Он погасил свет, прошел по лунному квадрату на паркете к своей одинокой постели, упал в нее и заснул, накрывшись сверху подушкой, чтобы ничего больше не помнить, все забыть и спать, не размышляя ни о чем.

9

Утром он проснулся в том же положении, как и заснул, проснулся от стука в дверь.

Он откинул подушку, поднял помятое лицо, успевшее за ночь зарасти, и спросил:

— Кто?

— К вам пришли, — сказал женский голос. — Вас тут дожидаются.

— Кто? — спросил Виктор. — Я сплю. Пусть потом зайдут. Через час. — Он упал головой на подушку и накрылся сверху второй.

— Просят выйти, — постучали снова. — Вы слышите?

Виктор встал, выругавшись про себя, сунул ноги в штаны и, застегиваясь, направился к двери.

Он открыл дверь. Перед ним было довольное, улыбающееся лицо дежурной по коридору.

— Вот, к вам пришли.

Он увидел тут же, за плечом дежурной, которая предупредительно отстранилась, уступая место входящим в комнату, Лену с двумя чемоданами и с какой-то сумкой, прикрученной к ним, и рядом с ней девочку лет трех, в клетчатом пальто, вязаной шапочке и в валенках с галошами. И Лена и девочка смотрели на него ясными глазами, в которых были ожидание, надежда.

Виктор стоял перед ними босой, в майке, выпущенной поверх брюк, и совершенно остолбеневший.

— Здравствуйте, — сказала наконец девочка.

— Здравствуй, — сказал Виктор.

— А я решила с утра перебраться, — говорила Лена, проходя через комнату. — Чего ждать, раз решено! — Она поставила сумку и чемодан и подошла к Виктору, стоявшему посередине комнаты. — Куда ты, туда и я. А это Лиза, дочка, — она обняла прижавшуюся к ней девочку. — Брать ее с собой не решилась пока: устроимся — заберем. А привела показать. А пока устроимся, у моей матери поживет — там у них все налажено: когда каша, когда суп. А ты что босой? — заметила она. — Простынешь, надевай ботинки.

Виктор сел на кровать, начал зашнуровывать ботинки, приготовленные с вечера вместо сапог.

— Хорошо, что я отсюда выписалась, а то с городской пропиской в Дом приезжих не пускают, — говорила Лена, расхаживая по комнате. — Завтра понедельник. Поеду возьму расчет на работе, и вечером мы отсюда тронемся.

— Вы завтракали? — спросил Виктор девочку и Лену.

— Я — нет, — сказала Лена. — Лизу покормила, а сама не успела.

— Пошли завтракать. — Виктор натянул свитер. —

Пошли? — спросил он Лизу.

— Пошли, — сказала девочка, — я пойду.

— Тебе побриться надо. — Лена провела ладонью по щеке Виктора. — Ну ты и зарастаешь.

— В две недели — борода, — сказал Виктор привычно. — У вас какое здесь напряжение?

— Как везде: двести двадцать, — сказала Лена.

Виктор достал из чемодана бритву «Спутник», которую нужно заводить, а не включать в сеть.

— Я, чтобы не путать напряжение, купил «Спутник». Удобная вещь. — Он заводил бритву. — В самолете можно побриться, на пароходе, в тундре, в пустыне, в горах, на леднике, среди нанайцев, лишенных временно электричества…

Он что-то говорил еще, потом брился перед зеркалом, но Лена не слушала его.

Он все стоял перед ней в раскрытых дверях, заспанный, перепуганный, с таким выражением в глазах — о чем уж тут говорить! — но Лена автоматически продолжала этот разговор, который, к счастью, теперь кончился, а вот он, повернувшись к ней спиной, брился. Она не видела теперь его лица, и так было значительно проще, и можно было теперь и помолчать, оглядывая бесцельно комнату, картинку на стене, изображавшую пейзаж; а девочка между тем, побродив по комнате, подошла к окну, облокотилась о подоконник и что-то напевала.

Утро было пасмурное, теплое. Таял снег, выпавший в ночь.

Столовая Дома приезжих была закрыта; буфет помещался на улице: фанерное ограждение, полосатый тент на высоких шестах, несколько столов — все пустые, и стойка самообслуживания, за которой белела халатом молоденькая рыженькая девушка, очень славная. Работы у нее пока не было, и она ставила на проигрыватель (он был у нее под рукой) пластинки — все самые новые. Когда в буфет вошли Лена, Виктор и девочка, их встретила не то румба, не то самба — Лена даже сделала несколько танцевальных движений, и дочка немедленно повторила их.

На двух шестах стояли рабочие в сапогах — отвязывали тент.

— Садитесь, — сказал Виктор. — Я сам все возьму.

— Давай вместе! Или ты садись, а я сама.

— Давай вместе.

Они выставили на поднос много разной еды. Виктор брал все подряд: кабачковую икру, шпроты, сметану, вафли, колбасу, баранину с картошкой.

— Куда столько! — останавливала его Лена. — Хватит!

— Выпить у вас что-нибудь есть? — спросил он рыжую девушку. — Ты выпьешь что-нибудь? — Он повернулся к Лене.

— Как ты, — сказала Лена. — Как хочешь. Разгрузили на стол поднос. Лена все быстро и ловко расставила.

— А вилки забыли! — Она побежала за вилками и принесла еще бумажные салфетки в стаканчике.

— Ну, сели! — сказала она. — Наливай!

— «А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть!» — девочка подпевала пластинке.

— Смотри, — удивился Виктор.

— «…Не с тобой, а с Наташкой в кино!..» — продолжала девочка уверенно.

— А эту знаешь? Ну, как это? — Он вспоминал. — Забыл. А-а, вот: «Чтобы не пришлось любимой плакать».

— Знаю, знаю, — сказала девочка.

— Сходи к тете и попроси, чтобы она такую поставила.

— Сейчас, — сказала девочка и пошла.

Виктор молча налил водки.

— И мне налей, не пожалей, — сказала Лена. Выпили. Нужная пластинка завертелась. Девочка прибежала обратно.

— Ты ешь, ешь. — Лена смотрела на Виктора. — Пьешь, так ешь.

— А ты чего не ешь? — спросил Виктор.

— А я на тебя смотрю.

— Ничего интересного.

— Ты на кого больше похож: на отца или на мать? — спросила она.

— А ты? — спросил Виктор.

— Я — на маму, — сказала Лена.

— Значит, к счастью, — сказал Виктор.

— Правда?

— Говорят, так. — Виктор налил, выпил.

— Что ж ты один пьешь? — спросила Лена.

— Забыл, — сказал Виктор. — Ты прости.

— Ну, и я одна выпью. — Лена выпила. — Лизонька, а ты знаешь эту пластинку — мы в магазине слышали: «Научи на гармошке играть»? Пусть тетя поставит.

— Сейчас, — сказала Лиза и убежала.

Виктор молча ел. Поднял голову — Лена смотрела на него, подперев лицо ладонями. Взгляд у нее был спокойный, добрый.

— «Хороши вечера на Оби, — повторяла она за пластинкой. — Ты, мой миленький, мне пособи. Буду петь и тебя целовать, научи на гармошке играть…» Ты играешь на гармошке?

— Нет, — сказал Виктор.

— Жалко. А что, действительно хороши вечера на Оби?

— Не знаю, не видал.

— У кого б спросить?

— А зачем тебе?

— Так. — Лена махнула рукой.

Лиза не возвращалась от рыжей девушки. Видно, они нашли много общего друг в друге, много общих интересов.

Уже гремела не то бразильская, не то мексиканская песня, а может быть, и отечественного происхождения, но явно из латиноамериканской жизни, веселая песня — слов не разобрать. Хотя, если прислушаться, можно было и уловить текст, который не отличался большим своеобразием, но слова соединялись в смысл общедоступный — про любовь. Песня была длинная, подробная и совершенно не подходила ко всей обстановке раннего осеннего утра и ко всем предметам, над которыми она так разносилась, гремела, запущенная рукой буфетчицы и повторенная еще раз — так уж понравилась! А утро было туманное, свежее — одно из тех, про которое сочинялись стихи: «Утро туманное, утро седое». Седое утро во всем: в освещении, в блеклости неба, в неподвижности холодного воздуха.

Один из рабочих отвязал свой конец тента, опустился с шеста. Материя свободно провисла.

— Все песни про одно и то же, — сказала Лена, — ты не замечал? Только музыка разная.

Виктор ничего не ответил.

— Да ты не томи себя, не томись, — просто сказала Лена.

— Что?

— Отдыхай, выпей, музыку послушай. У нее пластинок — до вечера не переслушать. До вечера, правда, ты не досидишь. — Лена улыбнулась. — И я с тобой еще выпью. Нет хуже, как одному пить, а смотреть на это дело со стороны совсем невозможно. Ну, будь здоров. Не вышло у нас с тобой ничего, не получилось. Я как утром на тебя посмотрела, поняла — не вышло. Я ведь не дура, не сумасшедшая. — Она помолчала. — Не печалься. Поезжай с легким сердцем. Жизнь большая, может, и встретимся еще. Иди.

Они вышли вместе и вскоре расстались. Момент расставания всегда неловок: и слова говорятся не те, что хотелось бы сказать, — да и что говорить? — проще родное объятие, родные глаза — внимание души, так бы я сказал, внимание сердца. Но здесь все было иначе. Буднично они пошли, просто. Вначале их движение было даже в одну сторону; Виктор молчал. Потом она сказала:

— До свиданья. — И свернула в переулок.

Виктор переходил улицу, ускоряя шаг. Он не чувствовал ничего, кроме желания освободиться от той неловкости, которая вдруг овладела им; и неловкость, казалось, пройдет сразу, как

только он ускорит шаг, скроется за поворотом. Прямого объяснения своему душевному состоянию Виктор не находил. Не чувствовал он и вины в случившемся — да и не было у него прямой вины перед этой женщиной. Никогда еще с ним не происходило ничего похожего.

Он стал в очередь перед табличкой «Город — Аэропорт». Очередь говорила, листала газеты, щелкала семечки, плакала — у одной из стоявших в ней на руках был ребенок; очередь и молчала уезжавшим куда-то молодым парнем и оторопелой, растерянной девчонкой около него — жена? невеста? — кто знает, но только лицо у девчонки бледнело по мере того, как автобус, показавшись в конце улицы, подходил ближе, а парень вдруг как-то неловко, стесняясь окружающих и самого себя в этом движении, обнял девушку и поцеловал, но поцелуй пришелся куда-то в ухо; девушка разревелась, как уж давно, наверно, собиралась. Очередь подтолкнула парня к дверям, и он скрылся в них, чтобы появиться тут же в раскрытом окне автобуса, оттянув таким образом окончательный момент расставания еще на один короткий срок.

Поехали, поехали — хлопнули двери, звякнули бидоны с молоком, ехали здесь и молочница и два солдата по своим солдатским делам, а может, и в отпуск, если им выпала такая удача. Виктор стоял, зажатый со всех сторон, уткнувшись в чей-то светло-зеленый плащ.

Город стремительно начал уходить влево, становились реже дома. В автобусе кто-то заиграл на гармошке. Запели нестройно. Парень, высунувшись, смотрел в окно — значит, видел еще свою девушку.

Продолжая думать о своем, Виктор безотчетно смотрел на кондукторшу, она стояла прямо перед ним — в синей куртке, волосы крашеные, глаза голубые.

— Слушай, — вдруг сказал Виктор. — Не сделаешь одолжение, на секунду не остановишься?

Кондукторша смотрела на Виктора, но мысли ее, казалось, тоже были далеко.

— Что? — спросила она.

— Останови, пожалуйста.

Вот Виктор снова здесь, где они расстались недавно. Ничего не изменилось — все как раньше. Буфетчица слушала пластинки; рабочие продолжали снимать тент; маляр подставил лестницу и курил, разговаривал о чем-то с напарником; падал снежок — редкий, мелкий. Лены, конечно, здесь не было и быть не могло.

Виктор с полной ясностью понимал это, возвращаясь, но

надежда все-таки у него была — небольшая надежда, хотя он совершенно не представлял, что он ей скажет и как объяснит свое возвращение — да и было ли это возвращением? Нахлынуло, накатилось что-то и потянуло вдруг снова увидеть человека, которого он и знал всего сутки и то очень приблизительно.

Автобус «Город — Аэропорт» ехал над рекой по шоссе, расположенному почти на одном уровне с ее поверхностью — пологий здесь был берег, низкий.

На реке еще не было никаких следов зимы, но вода текла темная, холодная даже на вид.

Автобус шел в одну сторону, а навстречу ему по реке плыла самоходная баржа. Правда, говорят «шла баржа», но она именно плыла, скользила по течению.

Она появилась неожиданно, но все-таки пассажиры, и Виктор в их числе, успели на нее посмотреть из окна автобуса, как она прошла по реке почти рядом, едва не коснувшись бортом — так даже могло показаться из-за пологости берега, — и вскоре исчезла, осталась позади, вся белая, белоснежная, возникшая, как из мечты, но с вполне реальным пареньком, примостившимся на корме, который сидел один и, глядя на проплывающие берега, играл на гармошке что-то, что невозможно было услышать в автобусе, но играл паренек самозабвенно — такое уж у него было настроение.

И тут с баржей происходит превращение, которое не увидят едущие в автобусе люди, ибо для них она останется прежней, засыпанной снегом, белой, плывущей по темной воде мимо берегов, покрытых тающим снегом.

Превращение это обращено к читателям, к зрителю.

Из темной воды, из пасмурного ноябрьского дня баржа внезапно, без всякого перехода вплывает в ослепительный летний день.

Теперь она уже плывет прямо по полевым цветам, по высокой свежей траве, по ромашкам и клеверу, по всей летней пестроте и прелести зеленого луга, над которыми скользят, поблескивая крыльями, стрекозы, взлетают птицы; проносятся на лошадях без седла босоногие мальчишки, рассекая своим движением горячий июльский воздух.

Берега здесь вровень с водой, и ощущение того, что баржа плывет по цветам, совершенно полное, единственное, и ничего другого не приходит в голову.

Реальным выражением счастья плывет она среди блеска летнего дня. И я могу только добавить, что ничего другого не скажешь, никак по-другому не назовешь то состояние покоя и радости, когда видишь баржу, скользящую бесшумно по травам и

полевым цветам.

Могу только добавить, что и я бы хотел плыть на этой барже и завидую тому парню на корме, который продолжал играть свою незамысловатую мелодию, все одну и ту же.

И так же спокойно, без всякого перехода вплывает она в те же самые снежные берега и сама становится засыпанной снегом.

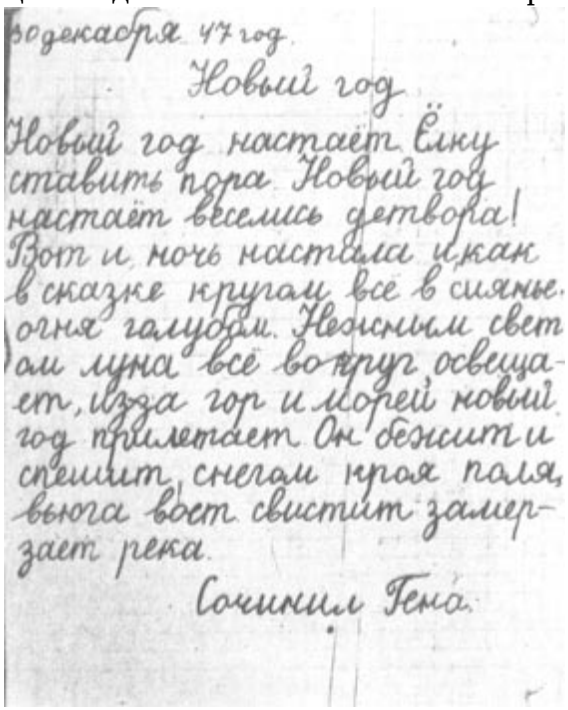
Виктор смотрел в окно на проплывающую мимо баржу с этим пареньком, поющим что-то, что он не мог расслышать, но когда река опустела и пропала баржа, засыпанная снегом, он вдруг с отчетливостью представил себе, как через несколько часов в этот же день она войдет в город, через который протекает река, и поплывет мимо домов, где ему не жить, мимо всего, что он оставил там, в этом городе, как уже не раз оставлял в других местах, думая, что все еще впереди, что все самое лучшее еще предстоит где-то там, в других местах и городах, где он еще не был, но еще побывает, наверное, и с ним произойдет, случится то самое главное и важное, что должно случиться в жизни каждого человека, и он был убежден в этом, хотя терял он каждый раз гораздо больше, чем находил.

Иллюстрации

Звездная пара — Инна Гулая и Геннадий Шпаликов

Гена Шпаликов с матерью Людмилой Никифоровной и отцом Федором Григорьевичем

Суворовец Геннадий Шпаликов с мамой и сестрой Леной



30 декабря 47 год.

Новый год

Новый год настаёт Ёлку
ставить пора Новый год
настаёт веселись детвора!
Вот и ночь настала и жан
в сказке кругом все в сиянье.
огня голубом. Нежным свет
ом луна все вокруг освеща-
ет, изза гор и морей новый
год прилетает Он бежит и
спешит снегом кроя поля,
вьюга вот свистит замер-
зает река.

Сочинил Гена.

В Суворовском

«Так служим Отчизне..»

Мне 20 лет

С первой женой Наталией Рязанцевой

В начале 60-х

Г. Шпаликов на острове Диксон

«А я иду, шагаю по Москве…»

Кадры из фильма «Мне двадцать лет»

А.Княжинский, Г.Шпаликов, Ю.Файт в Московском зоопарке

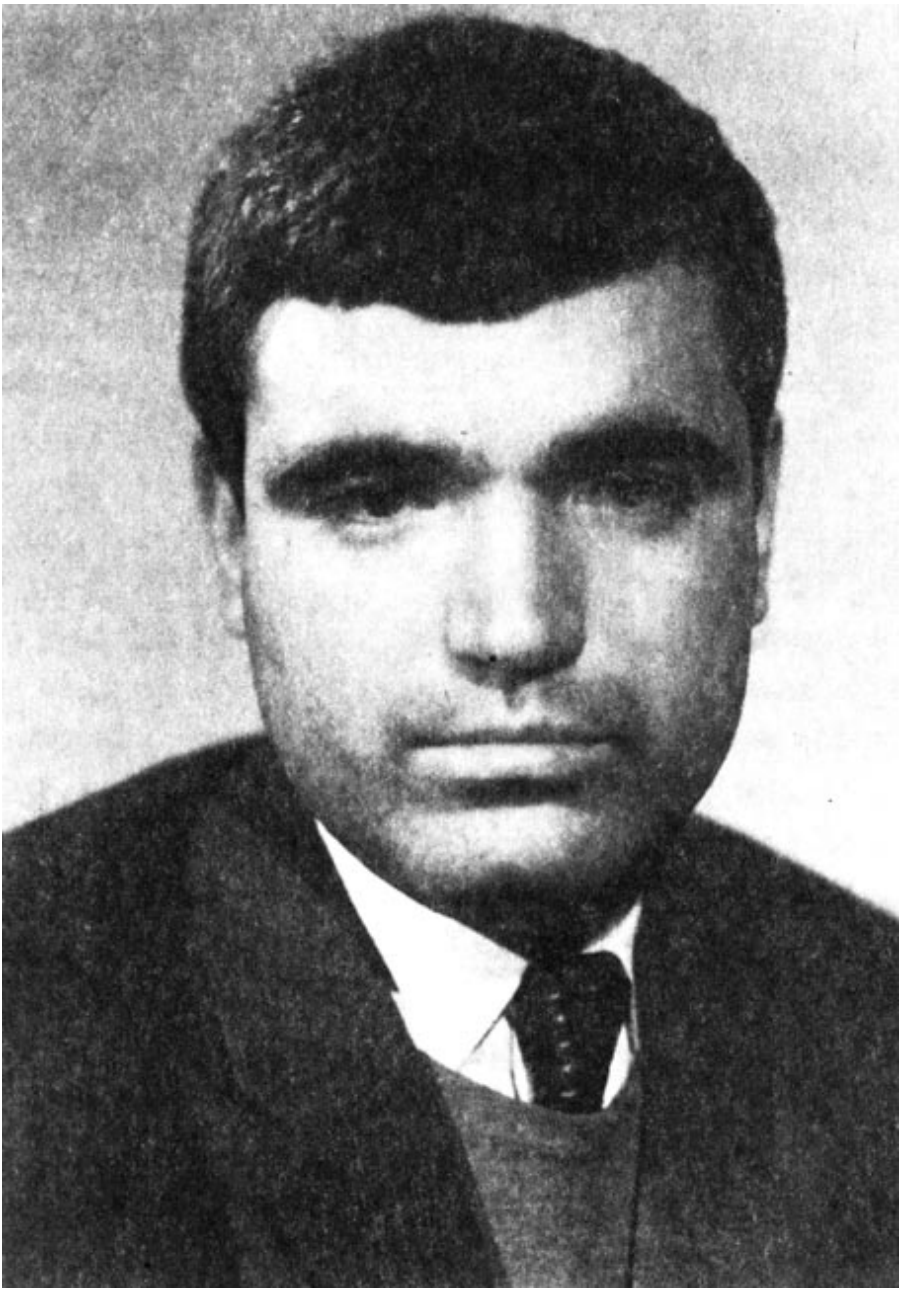
В бане

«Я шагаю по Москве». Слева направо: Алексей Локтев, Никита Михалков, Галина Польских

«Я шагаю по Москве»

«Я к вам травою прирасту…»

Инна Гулая. «Сегодня воскресение в лесу…»



Геннадий Шпаликов. Конец 60-х

Инна Гулая. Кинозвезда на небосклоне 60-х

Счастливые родители

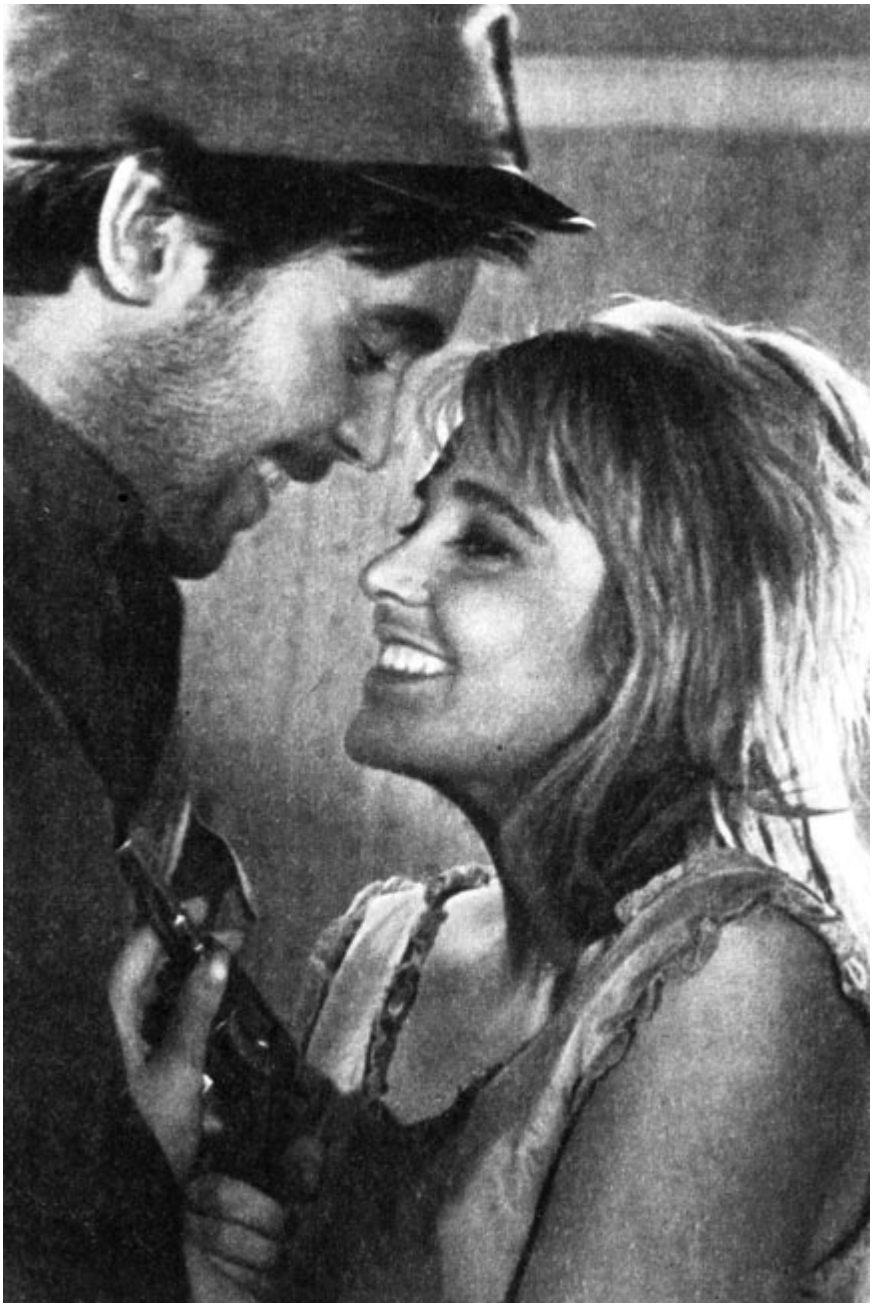
Даша Шпаликова

Инна Гулая и Владимир Ивашов в фильме «Тучи над Борском»

Кадры из фильма «Тучи над Борском»

Инна Гулая и Леонид Куравлев в фильме «Когда деревья были большими»

«Время, вперед!»



«Большая дорога»

Кадры из фильма «Большая дорога»

Инна Гулая и Кирилл Лавров в фильме «Долгая счастливая жизнь»

Инна Гулая. Конец 1960-х

В период съемок фильма «Долгая счастливая жизнь»

В ее глазах было предвестье трагедии